



Евгений Мосязин

**Медные пятки
правды**

Евгений Мосягин

Медные пятаки правды

«ИТРК»

2018

УДК 82-312.6
ББК 84-44

Мосягин Е. П.

Медные пятаки правды / Е. П. Мосягин — «ИТРК», 2018

ISBN 978-5-88010-539-7

В новых повестях и рассказах писатель-фронтовик, участник партизанского движения в Белоруссии, Евгений Потапович Мосягин размышляет о быстро меняющейся жизни, соотносит нравственные ценности своего поколения, победившего в Великой Отечественной войне, с модными сегодня критериями успеха и благополучия. Книга предназначена для читателей всех возрастов, любящих качественную современную прозу.

УДК 82-312.6
ББК 84-44

ISBN 978-5-88010-539-7

© Мосягин Е. П., 2018
© ИТРК, 2018

Содержание

Вступительное слово	5
Выходи строиться	7
Новое место службы	8
Я – командир взвода	11
Я – командир хозяйственного взвода	16
Отпуск и опять служба	20
Шофер Леванин	22
Комсорг стройбата	24
Совсем не комсомольские дела	29
Письмо от хорошего товарища	33
Я – избранный комсорг батальона	34
Праздничные неприятности	35
Честь не по чину	39
Жора Кормухин	41
ЧП в Воскресенске	44
Демобилизация Кокобаева	45
Офицерская должность	47
Маме опять надо терпеть	54
Борьба с космополитизмом и прочее	57
Три источника марксизма	63
Выдвиженец	65
Выходи строиться	69
Младший сержант Валеев	71
Бессрочная срочная служба	72
Новый комбат	75
МОГЭС	79
Новые должности старшего сержанта Мосягина	82
Окончание службы	89
Палата на восьмом этаже	93
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Евгений Мосягин

Медные пятаки правды

Вступительное слово

Через два месяца после начала войны город Новозыбков был оккупирован немцами. Эвакуироваться нам не удалось, и наша семья осталась жить в оккупации. Мне было 15 лет. Немцы периодически здоровых молодых людей из города угоняли на принудительные работы в Германию. В 1943 году дошла очередь до меня. В первых числах августа меня вместе с другими угоняемыми погрузили в немецкий военный эшелон и повезли на Запад. За Днепром неподалеку от города Жлобина мне с двумя товарищами удалось бежать из эшелона. Через несколько дней скитаний по лесу с помощью добрых людей нам удалось попасть в партизанский отряд. Я был стрелком-разведчиком. Принимал участие во всех боевых операциях, которые проводил наш отряд. Когда отряд соединился с действующей Красной Армией, я с одним товарищем был на задании. В немецком тылу находились дней десять и в расположении наших войск через линию фронта выходили самостоятельно. Потом несколько дней мне пришлось полежать в госпитале. Затем, ввиду того, что я не достиг призывного возраста, меня отправили в распоряжение райвоенкомата по месту жительства. А дальше все было просто: призыв в армию, учебный полк, где я и встретил День Победы. После армии тридцать с лишним лет работал в Аэропроекте – проектно-изыскательском и научно-исследовательском институте гражданской авиации. Вот выписка из приказа начальника института за 1980 год: «26 сентября исполняется 25 лет работы Е. П. Мосягина в Аэропроекте. За это время он прошел путь от чертежника-конструктора до руководителя конструкторской группы. При его личном участии и под его руководством разработаны проекты многих объектов: аэропортов Внуково, Домодедово, Быково, Шереметьево, Новосибирска, Казани, Ульяновска, Киева, Риги, Таллина, Ростова-на-Дону, Кабула, Конакри, Улан-Батора, Гаваны и т. д.» Это не полный список, я после этого еще семь лет работал в институте. За время своей конструкторской работы я сделал столько чертежей формата А-1, что если их склеить, то получившейся лентой длиной 2,5 км можно было три раза по вертикальному периметру обернуть Эйфелеву башню в Париже.

Литературой я занимался всю жизнь. Первые стихи были опубликованы в военных газетах еще во время войны. После Победы с публикациями не заладилось. У меня как-то не получилось найти свой путь на жестко контролируемом пространстве соцреализма. Один очень ученый человек сказал, что социалистический реализм – это восхваление руководства страны в доступной для его понимания форме. Этого как раз я не умел, да и не хотел делать. Я работал для себя простую формулу существования и руководствовался ею всю сознательную жизнь: я государству – свой труд, а государство мне – зарплату. Мне очень повезло: я любил свою конструкторскую работу. Я был всегда результативен и востребован как у себя на Родине, так и во время служебных командировок за границу. Литературу не оставлял. Написал роман-хронику «Старый дуб у дедовского дома». Это история моего рода в условиях войн, революций и строительства светлого будущего в нашей стране. В одном московском издательстве вышла моя книга «Живое дыхание» о Великой Отечественной войне – повести, рассказы, стихи. В книге 520 страниц, тираж 7000 экз. Книга вышла за счет издательства. Печататься я начал с середины девяностых годов прошлого века. В Москве и в других городах России состоялось порядка двухсот публикаций моих стихотворений и рассказов. Сейчас работаю над документальным исследованием некоторых ужасающих аспектов Великой Отечественной войны.

*Е. Мосягин,
солдат Великой Отечественной войны,
сентябрь 2018 года*

Выходи строиться

Повесть

Впервые послевоенные месяцы кинохроника часто показывала торжественные встречи возвращающихся с войны солдат. Паровоз, украшенный портретом Генералиссимуса в красно-зеленом обрамлении, медленно подкатывался к перрону железнодорожного вокзала. Гремели оркестры, волновалась толпа встречающих, из вагонов выходили воины – победители, пожилые мужчины, одетые в хлопчатобумажную солдатскую форму. Начинались объятия со слезами радости и счастья, как это бывает после долгой и опасной разлуки.

Мало кто замечал тогда, что среди завоевавших Победу и вернувшихся домой мужчин не было молодых солдат. На войне погибали и старые солдаты, и молодые, но среди вернувшихся домой не было молодых солдат. Нет, они не все погибли на войне. Молодые солдаты остались служить родине в Вооруженных Силах страны. Нельзя же было после Победы всю армию распустить по домам. Боевую готовность в мирное время армия должна сохранять так же, как и во время войны. Но государству после войны необходима была не только боевая мощь своей армии, государству после военной разрухи требовалась еще и дармовая рабочая сила.

В нашей стране существовал ГУЛАГ, некое подобие библейского ада, насельниками которого являлись несколько миллионов ни в чем не повинных советских людей, именуемых врагами народа. Дармовые рабочие ресурсы ГУЛАГа после войны пополнились сотнями тысяч несчастных исстрадавшихся в фашистском плену советских военнослужащих. Красная Армия освобождала их из гитлеровских концлагерей, а войска НКВД по приказу вождя переправляли их в сталинские концлагеря. Победа для этих людей обернулась только переменой места заточения: из Освенцима, Майданека или Дахау они попадали в Воркуту, Норильск или на Колыму отбывать десятилетние сроки наказания, как предатели Родины.

Кроме этих трудовых резервов, на восстановительных работах а потом и на великих стройках коммунизма широко использовался труд немецких военнопленных.

Но всего этого было недостаточно!

И тогда в Вооруженных Силах была создана многочисленная конгломерация так называемых военных строителей, вошедшая в подчинение Строительно-квартирного управления Красной Армии. Основной хозяйственно-административной единицей этого управления являлся Отдельный строительный батальон, «ОСБ» или просто – стройбат. Стройбаты формировались из молодых солдат, оставленных после войны в армии на службу без определенного срока. Стройбаты представляли собой странное смешение воинской части и принудительно-трудовой колонии. Но если войти в положение тех, кто должен был служить в стройбатах, то можно сказать только одно: неволя всегда неволя, как бы ее ни называли.

Ни в Большой Советской энциклопедии, ни в Военной энциклопедии я не нашел упоминания о Строительно-квартирных войсках. При перечислении родов войск Вооруженных Сил имеется невразумительное определение: «и др. войска». Видимо, под этими «др. войсками» и скрывались пресловутые стройбаты наряду с какими-нибудь другими, не стоящими упоминания военными формированиями

Новое место службы

Сначала мая пошли слухи, что часть, в которой я служил, будут расформировывать. К моему большому сожалению, эти слухи очень скоро стали реальностью. Что поделаешь, война закончилась, сокращался численный состав армии, уменьшалось количество воинских подразделений. За последний год моей службы уже третья часть расформировывалась на моих глазах и с моим, так сказать, участием. Как недолго и как хорошо мне служилось в последней, подлежащей расформированию части! Я был художником-оформителем в полковом клубе и такая, с позволения сказать, служба, на настоящую воинскую службу была совсем не похожа. Я просто работал, много работал и для клуба и для всей территории части. Я писал бесчисленные лозунги, рисовал плакаты и патриотические панно, рисовал портреты Генералиссимуса и маршалов. Мне очень нравилась моя работа, а главным образом нравилась моя жизнь в обществе хороших и добрых людей клубного штата. Но все хорошее когда-нибудь да кончается. И, как правило, скорее, чем этого хотелось бы.

Водку купил начальник клуба старший лейтенант Вторыгин, закуску готовили Кати. Их было две, одна постарше, другая помоложе, они уборщицы в клубе. Собралась хорошая компания: киномеханик, библиотекарь, я и моторист с начальником клуба. Чокнулись, пожелали мне хорошей дороги и удачной службы на новом месте. Я уезжал пока один. Прощание с младшей Катей было грустным. Она была для меня отрадой и мимолетным счастьем в моей солдатской судьбе.

Сбор отправляемых из части начался в восемь часов утра на плацу около клуба. Неразбериха была полная. То «Стройся!», то «Разойдись!», переклички, проверки. Начальники суеются, читают какие – то бумаги, кого-то ищут, кого-то ругают. Все чего-то или кого-то ждут.

Провожать меня вышла одна Катя. Невысокая, стройненькая она стояла поодаль под деревом около клуба. Такой она мне и запомнилась. С запоздалой благодарностью и с горькой слезой упрека самому себе запомнилась мне эта славная милая девушка. Это был первый урок непоправимости случаев равнодушия и небрежения к тому, что теряешь навеки.

Часа через полтора команда отправляемых из части солдат двинулась на станцию Хоботово. Двинулась к новому месту службы, к новой жизни, к новой судьбе. Ровно два года назад минометный батальон, в котором я начал свою военную службу из Мичуринска походным маршем в тридцать километров прибыл в этот лес для продолжения воинской службы. Я хорошо запомнил тот день. Построение было назначено на 8 часов утра. Батальон повзводно становился в строй на шоссе перед зданием школы. Было солнечное майское утро. Шел сорок четвертый год. Батальон навсегда покидал Мичуринск. Нельзя сказать, что родным домом было для нас пустующее школьное здание, где прошли первых два месяца службы для молодых солдат, но всегда немного грустно покидать обжитое место. И хотя война приучила: к постоянным перемещениям и к неустроенности бытия, а все равно сердце тревожилось – опять поход, опять к новому пристанищу и по-прежнему не известно то место, которое станет для тебя новым домом. Но, кроме малой тревоги и грусти, была еще в сердце и молодая веселая бодрость, и ожидание увидеть то, где ты еще не был и незамутненно грела душу надежда на что-то хорошее и еще не испытанное. Светило солнце и омытая ночным дождиком зелень травы и деревьев была яркой и свежей, и сияли трубы духового оркестра. Была подана команда к началу марша, грянул оркестр. Женщины в толпе провожающих подносили к глазам беленькие платочки. Это было правильно. Женщины всегда должны слезой провожать строевым шагом покидающих город солдат. Особенно во время войны.

Все это было два года назад... А теперь все было буднично и просто. Ни оркестра, ни провожающих женщин, – ничего не было. Одна моя Катя стояла под деревом и смотрела мне вслед.

До станции Хоботово было всего около восьми километров и мы быстро прошли это расстояние. Поезд с несколькими товарными вагонами для солдат задержался часа на два. Когда погрузились, сказали, что поезд идет на Москву. Ехали двое суток, в вагоне не было нар, спали на голом полу. Лежать было неловко и тесно. Я пристроился на скамье у раздвижной двери вагона, откуда шла свежая струя воздуха, но спать на таком узком ложе было трудно. Когда задремывал, сразу же подступали разные нелепые сны. То виделась зеленые улицы Аккермана, в котором я никогда не был, но о котором рассказывал мне мой новый знакомый и спутник Петя Юрченко, недавно побывавший в отпуске, то вдруг снились какие-то девушки, они смеялись и почему-то говорили мне, чтобы я с кем-то обязательно попрощался. Стучали колеса, было холодно и неудобно. Поспать мне удалось только после того, как начали просыпаться мои спутники, освобождая место на полу. Поезд то останавливался, то снова продолжал путь. Остановки были бессистемными и случайными. Только выпрыгнешь из вагона, как вдруг звучит команда: «По вагонам!». Шипят тормоза, состав гремит своим железом и поезд трогается. Солдаты от кого-то узнали, что выгрузят нас в Москве и направят в какой-то стройбат. Что такое стройбат, никто не знал. Знали штрафбаты, дисбаты, а о стройбатах никто толком ничего не слышал. К вечеру на одной из остановок ребята достали самогону. Сначала пели и пытались плясать, потом на очередной остановке поезда полезли в соседний вагон драться.

В 11 часов утра поезд пришел на Казанский вокзал в Москву. В каком-то тупике солдат выгрузили и повели пешим порядком по Садовому кольцу до площади Маяковского, а дальше по улице Горького и по Ленинградскому проспекту куда-то на Сокол. Я подумал, что нас ведут в Сокольники, которые я знал по картине Левитана. Но нет, колонна шла на Сокол. Почему-то так оказалось, что из командиров на всю братию остался только один единственный офицер – лейтенант маленького роста в кителе и в сапогах, при револьвере в кобуре на поясе с правой стороны, отчего и ремень, и сам лейтенант были перекошены вправо. Лейтенант возглавлял войско, двигавшееся по проезжей части с правой стороны, придерживаясь поближе к тротуару. Когда гнали через Москву немецких военнопленных, они шли правильным строем, что вызывало положительное впечатление у москвичей, наблюдавших это шествие. Ни о каком подобии строя не напоминала бредущая за своим командиром разношерстная солдатская компания. Просто шли по московской улице люди длинной, растянувшейся толпой с сумками и самодельными чемоданами в старом, знавшем еще Отечественную войну, солдатском обмундировании. К тому же все несли с собой свои потрепанные бушлаты и шинели, что тоже не украшало наш строй. Жалкое это было зрелище. Лейтенант шел впереди, совершенно не обращая внимания на то, идет ли за ним его команда, или уже половина из нее отстала или разбежалась. Видимо, он считал, что главное для него, это то, чтобы он сам дошел до назначенного места. А дойдет ли с ним его команда, его это, вроде бы, и не касалось.

На Ленинградском проспекте остановились на небольшой перекур. Какая-то пожилая женщина участливо спросила: «Вы не из Монголии, детки?». Добрая женщина, видимо, подумала, что если мы все такие обтрепанные, то это допустимо для солдат, несущих службу только в Монголии. Почему в Монголии? Это, например, к Эфиопии еще больше могло бы подходить.

Во второй половине дня солдаты добрались до места назначения. Нам сказали, что это Октябрьское поле и оно находится на северо-восточной окраине Москвы. Просторная, вытоптанная территория, огороженная колючей проволокой, была похожа на настоящую зону, только без барачных вышек с охраной. Толпилось здесь множество неприкаянного народа в таком же, как и у вновь прибывших, затрепанном солдатском обмундировании.

Безнадёга!

Часов в шесть дали поесть баланды с хлебом. А часов в восемь всех прибывших сегодня в Москву, построили и повели за ворота «зоны». На этот раз шли недолго. Привели к метро «Сокол». Почти все впервые попали в метро. С пересадкой доехали до станции «Бауманская». Отсюда снова пешком пошли на улицу Красноказарменную. Усталых и голодных солдат завели через проходную в просторный двор и сказали, что здесь придется ночевать. А как ночевать? Земля голая, ни травинки на ней, ни кустика. Слава Богу, дождя не было. Начинало темнеть. Мне часто приходилось спать на земле под открытым небом, но это было, как правило, в лесу под деревьями, на траве, на опавших листьях, на лапнике, а в городе на твердой, как камень земле это было впервые. Промаявшись пару часов, солдаты начали с помощью своих бушлатов и шинелей устраиваться на ночлег. Потом подошли какие-то военные люди, подали команду вставать и всех повели в близко стоявший дом, провели на третий этаж в какие-то пустые комнаты. Голые доски пола показались раем, а над головой была крыша.

Я – командир взвода

На второй день пребывания в Москве я стал командиром взвода.

По штату это офицерская должность и она соответствует офицерскому званию от младшего до старшего лейтенанта. В строительных же батальонах в первые годы на должность командиров взводов назначали сержантов. Позже такое положение изменилось и в батальоне появились «взводные ваньки» в офицерских погонах.

А со мной все произошло так. Двор, куда солдат привели вчера вечером и дом, в котором мы ночевали на голых досках, – все это принадлежало Академии Бронетанковых войск Красной Армии. Утром плохо спавшую солдатскую братию вывели во двор и накормили перловкой или, как еще ее называли, «орловской шрапнелью». Полевую кухню увезла на буксире полуторка.

Незнакомый офицер подал команду строиться в шеренгу по двое. Солдаты суетливо, кое-как построились. Шеренга получилась очень длинная и неровная. Молодой симпатичный парень с погонами старшины взял на себя инициативу и организовал это построение. Стоявший поодаль офицер вышел на середину и стал перед строем. Это был высокого роста, прямой, подтянутый, строгий на вид, но сразу было видно, что не злой и не своенравный командир. Все на нем было точно подогнано по росту и фигуре. На плечах у него были погоны капитана, на гимнастерке – орден Боевого Красного знамени без планки и желтая полоска, свидетельствующая о тяжелом ранении на фронте. Таких безупречно экипированных офицеров обычно изображают на методических таблицах, как примерный образец внешнего вида офицера Красной Армии. Капитан объявил, что все солдаты с сегодняшнего дня являются военнослужащими 124 Отдельного Строительного батальона (124 ОСБ).

– Вы будете первой ротой этого батальона, а я – капитан Тарасов – буду вашим командиром, – заявил стоявший перед строем офицер.

Без суеты и лишнего шума за какой-нибудь час времени капитан спокойными и точными распоряжениями организовал из полутора сотен разобренных мужчин полноценную стрелковую роту. Если бы в этот момент сложилась военная необходимость, то капитан Тарасов с полной уверенностью мог бы развернуть свою роту в боевой порядок и с линии обороны или с рубежа атаки ни один солдат не уклонился бы. Такая убежденность и командирская воля исходила от незнакомого капитана. Он подозвал к себе младших командиров и, когда я приблизился к нему, то заметил, что один глаз у капитана стеклянный. Восемь сержантов стояли перед ним в заношенном обмундировании, одинаково не известные ему и одинаково неприглядные. Он осмотрел всех единственным глазом и без колебаний строго и уверенно назначил четырех сержантов командирами взводов. По какому признаку он сделал свой выбор и чем руководствовался при этом, непонятно, но потом, по прошествии немалого времени, он как-то сказал, что не ошибся в своем выборе.

Я, сержант Мосягин, стал командиром взвода. Старшиной роты капитан назначил того старшину, который строил шеренгу. Всему командному составу роты капитан раздал служебные книжки для записей. Эти книжки, еще довоенного образца, предназначались для младших командиров Красной Армии. Первым делом я внес в эту книжку список солдат своего взвода. Список получился внушительный – вместе с командиром во взводе числилось 50 человек. Из них русских было только 8 человек, а остальные литовцы и один узбек. Пришлось снова приывать к нерусским фамилиям. Снова потому, что не так давно мне уже приходилось командовать взводом, состоявшим из одних литовских граждан. Тогда они очень хорошо ладили со мной и мы были довольны друг другом. Я надеялся, что и теперь мы, как-нибудь поладим. Они ведь неплохие ребята, все эти Шилбаёрисы, Буркявичусы, Печкусы и прочие.

В этот же день привезли палатки, доски, колья. Первая рота стройбата начала устраиваться лагерем на просторном академическом дворе.

«Третий день в Москве. Как же неприветливо ты встретила меня, Москва», – так думалось мне о своем пребывании в столице. Не худшим хотел я быть на московских улицах. Впрочем, я еще и не видел московских улиц. Если мне и приходилось выходить за проходную академического двора, то только во главе своего взвода. Вчера ходили за досками. Шли строем по проезжей части, я шел с правой стороны строя поближе к тротуару. Почти рядом со мной шли трое ребят и две девушки. Я слышал их разговор, речь шла о зачетах и курсовых работах. Эти молодые люди были студенты какого-то института.

У поворота на Краснокурсантский проезд я подал команду: «Правое плечо вперед! Марш!». Мои попутчики все как один посмотрели на меня, своего ровесники и соотечественника. Что они подумали обо мне? А я подумал о той пропасти, которая разделяет нас. Пока я будет служить, они закончат учебу в своих институтах, получают дипломы, начнут работать, а я все еще буду отдавать свой долг Родине, потому что служба в армии – это почетный долг каждого гражданина страны. И еще я думал о том, почему я стал должником у своей Родины? Ведь должником становится человек только в том случае, если он что-то задолжал кому-то. Я же у своей Родины еще ничего не брал в долг. За что же я должен расплачиваться? «Странное дело, – думал я, – почему так установлено, что каждый, кто живет в нашей стране, с самого своего рождения, становится ее должником. Даже в одной очень партийно-политической песне поется, что человек “пред Родиной вечно в долгу”».

Обмундирование солдат давно уже требовало замены и по срокам, определенным для его эксплуатации, и по его состоянию. Солдаты одеты очень плохо. Число воинских частей после войны сокращалось, остатки личного состава переводили из одного подразделения в другое, направляли на пересыльные пункты. Время шло, сроки замены обмундирования давно вышли, но, переводя солдат из одного подразделения в другое, никто не думал о том, что солдатам иногда необходимо выдавать новые штаны. С обувью дело обстояло также плохо. Правый сапог у меня давно уже просил каши, в этом я был солидарен с ним: я тоже постоянно хотел каши. Кормят очень плохо. Спасает в какой-то мере хлебная пайка. А так – соленая капуста да чечевица.

Кстати, обмундирование солдат Красной армии отличалось тем, что во время Великой Отечественной войны оно было самым худшим обмундированием всех других солдат, как союзнических, так и враждебных нашему государству армий. Это – к слову!

Неизвестно было, как пойдет служба дальше, а пока в стройбате служить было тяжело. Рота закончила устройство лагеря на академическом дворе: разбили палатки, сколотили в них нары, убрали и привели в порядок территорию, смастерили некое подобие столов для принятия пищи и в углу двора соорудили сортир. После всего этого солдат, знакомых с плотницким делом, приставили к строительству барака для штаба батальона, а остальных направили на стройку.

Первой роте повезло, стройплощадка расположена очень близко к месту ее расположения. Рота будет достраивать кирпичный пятиэтажный жилой дом около Лефортовского парка на Красноказарменной улице. На стройке начали заниматься подготовительными работами. Строительной техники никакой нет, ни крана, ни простейшей лебедки. Впрочем, никакой механизации на этой стройке до самого ее завершения так и не появилось. Зачем механизация, когда в полном достатке имеется дубленая солдатская плоть, многочисленная и не дорогая. На войне тоже ведь многие задачи решались подобным образом.

Солдаты таскают на носилках, а то и просто на спинах строительные материалы на кровлю и на разные этажи здания, убирают залежи строительного мусора, оставшегося здесь еще с

довоенного времени, когда этот дом начинали строить. Два отделения поставили рыть траншею для коллектора.

Командир взвода имеет некоторые привилегии – разрешили носить волосы, обещали отпустить в город в увольнение. Главная же привилегия комвзвода состояла в том, что ему приходится с утра до вечера принуждать ни в чем не повинных людей к выполнению тяжелой работы при плохой пище и скверных условиях жизни. Мне приходилось бегать по шатким междуэтажным настилам, карабкаться по лесам и понукать, покрикивать, уговаривать... Литовские солдаты в основном люди спокойные, дисциплину не нарушают, но нельзя же требовать от них постоянного повиновения и усердия, ничем не компенсируя их работу и службу.

Распорядок в стройбате жесткий: подъем в 7.00 утра, рабочий день начинается в 8.30 и заканчивается в 7 часов вечера. Перерыв на обед с двух до трех часов. Таким образом, рабочий день в стройбате длится девять с половиной часов.

Бытовые условия пока не налажены. Палатки и нары готовы, но постельного белья пока еще нет и вторую неделю солдаты спят, не раздеваясь.

Мой правый сапог пришел в полную негодность и как раз к этому времени меня выручил ранее упоминаемый Петя Юрченко. Он сапожник и уже приступил к своей работе по ремонту обуви. На вещевом складе он раздобыл старые, но еще пригодные к носке «прохоря».

Какое-то время они еще послужат. Петя, влюбленный во всех женщин, рыцарь из Аккермана и спокойный как камень литовец Казимир Пагирис вдвоем составили сапожную артель при первой роте.

Одно отделение моего взвода направили на ремонтные работы в здание Академии Бронетанковых Войск. В связи с окончанием учебного года освободились многие помещения, в которых многие годы не производилось никакого ремонта. Солдаты вынесли из них мебель и приступили к работе: потрескавшуюся и местами отставшую от стен штукатурку оббивали до деревянной обрешетки, окна очищали от старой многослойной покраски. Некоторые солдаты, работающие здесь, были знакомы со штукатурными и малярными работами по прежней еще вольной жизни. Руководит работой гражданский прораб. Он объяснил, что к чему и ушел на целый день. Я работал вместе со всеми. Это не обязательно, но я считал, что для начала это пойдет на пользу и мне и работающими со мной солдатами. Остальные люди моего взвода по-прежнему копали траншею под коллектор и выполняли вспомогательные работы на стройке жилого дома. Я несколько дней решил провести с отделочниками.

Вчера в Академию приезжал Югославский Маршал Иосип Броз Тито. Во время работы солдат Микелайтис подозвал меня к окну:

– Сержантушка, посмотри, кто это там ходит?

Я посмотрел в окно и увидел с высоты третьего этажа фуражку Югославского Маршала и не советские погоны на его плечах. С ним было несколько наших и югославских офицеров. Они на какое-то время задержались на месте, о чем-то поговорили, потом скрылись за углом здания.

Не прошло и месяца, как солдаты построили штабной барак. Эта архитектурная форма жилых помещений была очень популярна и востребована для проживания в ней счастливых советских людей, строящих свое светлое будущее, а также в концлагерях для размещения в них врагов народа и прочих репрессированных элементов. Штабной барак стройбата ничем не отличался от своих бесчисленных собратьев и выглядел удручающе. Но раз появилось помещение для штаба, то сразу же появилось и штабное начальство: командир батальона, его заместители, начальники различных служб, начальник штаба, и замполит. Все эти офицеры тотчас же принялись проявлять свою активность по адресу и без того затурканных солдат и сержантов первой роты. До этого мы знали только одного своего командира, капитана Тарасова. Теперь

же у нас стало много командиров и каждый стремился внести свой вклад в руководство личным составом батальона. А поскольку всего состава батальона под рукой не было, то штаб со всем своим командным апломбом обрушился на первую роту. Один только начальник штаба капитан Филутин чего стоил!

Сержант Вася Кудреватых, милейший и добрый парень, утром после завтрака построил свой взвод и «Ша-гом марш!», повел его со двора на выход к проходной. Ясное дело, что строй был так себе, и равнение солдаты не держали, и с шага сбивались. Обычный походный строй. Нельзя же толпой идти по улице на стройку, все-таки идут, хотя и стройбатовцы, но люди военные. А с другой стороны, какой строевой выправки требовать от солдат перед девятичасовым с половиной рабочим днем на стройке. Просто идут люди на работу и только. Вася шел сбоку строя, отделенные впереди. И как раз в это время из проходной вышел начальник штаба. Вася заметил его не сразу.

– Остановить взвод! – приказал Филутин.

Вася подал команду, взвод стал.

– Товарищ капитан, первый взвод первой роты, – начал докладывать Вася, но капитан его оборвал:

– Отставить! Разве это строй? Вы что, первый год в армии? Это не строй а толпа! Взвод! Слушать мою команду! Подравняйся! Ша-гом марш! Р-раз, р-раз, левой, левой! – начал командовать начальник штаба.

Взвод приблизился к закрытым воротам и остановился. Дежурный на проходной сержант, сбитый с толку происходящим, стоял в нерешительности и ворота не открыл.

– Сержант! Разверните взвод в обратную сторону! – приказал капитан.

Вася в тесном промежутке между стеной здания, воротами и проходной будкой кое-как развернул взвод и подравнял строй.

– Взвод, с места с песней ша-гом марш! – подал команду капитан.

Взвод молча пошел по старой булыжной мостовой академического двора в обратную сторону от ворот.

– Вы что! Команды не слышали?! – гаркнул капитан. – За-певай!

Солдаты угрюмо молчали.

– Не хотите петь? Ладно. Бего-ом марш!

Взвод тяжело и вразброд затряхал разбитыми ботинками по двору, добежал до противоположной ограды и остановился. Капитан Филутин, видимо, забыл какие команды следует подавать, чтобы повернуть строй и тогда сержант Кудреватых снова развернул взвод в обратную сторону. Начальник штаба заявил:

– Или будете маршировать с песней, или будете у меня бегать по двору, – заявил капитан. – Ша-гом марш! Запевай!

Взвод тронулся с места и сразу же из середины строя ефрейтор Телегин громким голосом запел, а точнее сказать заорал песню:

*Дальневосточная, опора прочная.
Союз растет, растет несокрушим.
И то, что нашей кровью завоевано,
Мы никогда врагу не отдадим.*

Закончив куплет, Телегин замолк, дальнейших слов он не знал, а песню никто не подхватил и не продолжил. Капитан скомандовал: «Бего-ом марш!». Взвод пробежал метров десять и без команды перешел на шаг. Строй смешался, шаг сбился, но капитана это не смутило и он снова подал команду запевать. И снова Телегин заорал «Дальневосточную», и его по-прежнему никто не поддержал.

– Отставить! – гаркнул капитан. – Я вам устрою веселую жизнь! Я займусь с вами строевой подготовкой, – пригрозил капитан и приказал Васе. – Ведите взвод на стройку!

Угрозы своей капитан Филутин не выполнил. Видимо, кто-то из начальства ему объяснил, что стройбат – это не строевая часть. Вот уж усердие не по разуму. На что капитан Тарасов до мозга костей строевой офицер, а и тот примирился с отсутствием надлежащей строевой выправки у солдат своей роты. Кстати, я думал о том, что капитану Тарасову по его личным качествам и истинно военному профессионалу следовало бы не ротой в стройбате командовать, а занять, по меньшей мере, должность заместителя начальника по строевой части какого-нибудь престижного офицерского училища. Но, по-видимому, армейские бюрократы, распоряжающиеся штатными назначениями, посчитали, что одноглазому офицеру достаточно и стройбата. Пусть, мол, и за это благодарит.

А капитан Филутин нашел все-таки способ, как напакостить личному составу стройбата: он ввел в распорядок дня утренний развод. Перед выходом на работу все четыре взвода первой роты и два-три человека из хозвзвода выстраивались перед штабным баракком. Поселившийся на жительство в штабном бараке, капитан Филутин на каждом разводе присутствовал лично и ему докладывали командиры взводов о наличии солдат во взводе и о готовности приступить к выполнению производственного задания. Потом Филутину это надоело и разводом стали руководить дежурные по части.

Комбат не считал необходимой эту возню с разводом, но ему, человеку доброжелательному и порядочному, просто не хотелось конфликтовать с агрессивным начальником штаба.

Я – командир хозяйственного взвода

Меня вызвал заместитель командира батальона по политической части капитан Рысаков и поручил мне вести учет прибывающих в батальон комсомольцев.

– В батальоне четыре роты. Ваша первая рота располагается здесь в Академии, вторая рота – в Военном институте иностранных языков, третья размещается повзводно в разных местах Москвы, а четвертая прикомандирована к химическому комбинату в Воскресенске для проведения строительных и ремонтных работ. Вам следует побывать во всех этих подразделениях и взять на учет всех комсомольцев. То же самое надо будет делать и среди вновь прибывающих солдат. Будем организовывать комсомольскую организацию нашей части. Свой взвод вам придется сдать другому командиру. А вы примете хозяйственный взвод. В армии не принято спрашивать согласия на выполнение приказа, но я спрашиваю вас, все ли вы поняли, что от вас требуется и согласны ли вы с моим предложением?

– Я вас понял и готов приступить к выполнению вашего приказа, – ответил я, глядя в бледное с мелкими чертами лицо капитана.

Капитан поморщился.

– Да не приказание. Надо, чтобы вы сознательно отнеслись к этому делу, – сказал он и в голосе его прозвучало что-то доброжелательное и человеческое.

– Я постараюсь, – заверил я замполита.

Палаточный лагерь просуществовал немногим более полутора месяцев. Вышло решение: разместить всю первую роту в тех помещениях, где солдаты спали на голых досках в первую ночь прибытия в Москву. Это были большие и светлые комнаты, коридор тоже был широкий с высокими светлыми окнами. Спальные места впервые за время моей службы были устроены не на нарах, а на двухъярусных железных кроватях. Жить, что и говорить, в нормальных помещениях лучше, чем в землянках или в палатках. Правда, тесно. В каждой комнате размещалось по сорок с лишним человек. Двухъярусное кроватное железо занимало все помещение от стены до стены и от окна до дверей с очень узкими проходами. По нормам размещения заключенных, отбывающих наказание, полагается на одного арестанта четыре квадратных метра жилой площади – на стройбатовского же солдата приходилось меньше одного квадратного метра в тесной казарме. Зато какой вид из окон! Яуза, ее набережные, Лефортовский мост, ЦАГИ, улица Радио. С высоты третьего этажа виден Московский простор. Дом, в который поселили первую роту, был старинный, добротный и стоял на высоком берегу Яузы.

Свой взвод я сдал старшему сержанту Федору Исаченко. Он позже меня прибыл в роту и был в моем взводе командиром отделения. Конечно, он был более достоин командной должности, чем я. Он был на два года старше, имел боевые награды: орден Славы третьей степени и орден Отечественной войны второй степени. Были у него еще какие-то медали.

За время, что я командовал взводом, у меня не было ни одной конфликтной ситуации с личным составом. За прошедшее время солдаты взвода в основном определились по строительным специальностям: кто пошел в маляры, кто в штукатуры, образовалась бригада кровельщиков, некоторые избрали себе плотницкое ремесло, а один солдат стал даже кузнецом. Принудительный труд не может давать хороших результатов, тем более он не может приносить удовлетворение исполнителю даже и в тех случаях, когда результат труда заслуживает высокую оценку. Один только солдат в моем взводе был исключением в этом смысле, это Рустам Шингельбаев, молчаливый низкорослый житель Узбекистана. Он был маляром и все, что ему приходилось делать, он доводил до хорошего качества. Все эти шпаклевки, грунтовки, затирки, покраски он выполнял со спокойным и упорным прилежанием. Приносило ли ему удовле-

творение его усердие, сказать трудно, потому что его лицо никогда ничего не выражало и он постоянно молчал. Штатский прораб, постоянно пребывающий в небольшом подпитии, был очень доволен работой Шингельбаева и говорил примерно так: «Этот потомок Чингисхана будет хорошим мастером. Учитесь у него, парни. В жизни пригодится».

Я был согласен с прорабом и тешил себя надеждой на то, что может быть пойдет солдатам на пользу их недобровольная работная служба в стройбате. Хотелось бы так думать. Сколько всем еще служить, никто не знает. У меня шел третий год службы, у солдат-литовцев немного поменьше, их брали в армию, когда освобождали Прибалтику.

Федя Исаченко мировой парень. Я остался на жительство на своем старом месте на территории теперь уже не моего взвода. Хозяйственный взвод в батальоне пребывал еще в начальной стадии своего существования, и мне пришлось формировать это, с позволения сказать, подразделение. Взвод получился немногочисленным: он включил в свой состав портных, сапожников, работников пищеблока, писарей, шоферов, – всего шестнадцать душ. Это были самые недисциплинированные и амбициозные товарищи. Я со всеми познакомился, сообщил им, что они теперь являются личным составом хозяйственного взвода и что я их командир. Я честно сказал им, что совершенно не знаю, как ими командовать.

– Работайте, как и работали прежде, – заявил им я. – И помните, что за ваши хорошие дела и успехи начальство будет хвалить вас, а за всяческие безобразия и нарушения порядка, которые вы обязательно будете учинять, начальство будет спрашивать с меня.

Следует сказать, что хозяйственный взвод особых хлопот мне не доставлял.

Что же касается задания замполита о постановке на учет комсомольцев, то это дело оказалось довольно хлопотливым. Мне выдали документ на право свободного пребывания за пределами воинской части без увольнительной записки. С этой бумагой я мог ходить и ездить по Москве в любое время и в любом направлении. За несколько дней я объехал все подразделения стройбата. В результате мне, как никому из батальонного начальства, удалось получить истинное представление о положении дел в отдельно расположенных взводах и ротах батальона. Дисциплина почти везде была на самом низком уровне, порядок внутренней службы нигде не соблюдался, порой приходилось искать дневального или дежурного, порой никто не мог ответить, где находится командир взвода. Встретиться с личным составом можно было только в местах, отведенных для приема пищи, где я и мог записать фамилии комсомольцев.

За время скитания по запасным полкам и пересыльным пунктам после расформирования воинских частей солдаты отвыкли от нормальной воинской службы. В стройбате отдаленность расположения подразделений от штабного начальства батальона и попустительство собственных командиров – а это все те же сержанты – приводило не только к нарушениям служебного порядка, но и к низкому уровню выхода на работу. Я все это видел, но докладывать об этом своему начальству не стал.

«Не мое это дело, – решил я и подумал. – Вот бы товарищу капитану Филутину не сидеть бы в штабе, а проехаться по подразделениям своей части и навести там порядок, или устроить, хотя бы, занятия по строевой подготовке. Поглядел бы я, что у него из этого вышло бы».

Через некоторое время меня назначили комсоргом батальона. Комсоргов не назначают, а выбирают, но меня пока назначили. Хозвзвод остался за мной.

В одной из своих поездок по Москве я увидел на Бауманской станции метро дочь персидского шаха. Эскалатор, на котором я спускался вниз, вдруг остановился со всем народом. Мне с моего места хорошо был виден вестибюль. Стройная брюнетка во всем белом, совсем не похожая на женщин из «Тысячи и одной ночи», в сопровождении многочисленной свиты осматривала Метрополитен. Обычная европейская девушка. Охрана, журналисты, фотографы, милиция... Два поезда в разные стороны проехали, не останавливаясь. «Ну и что, что Иран-

ская принцесса, – плебейски подумал я, – чем она отличается от других женщин и девушек? Только тем, что она дочь своего отца?».

Мне, показалось, что ей было скучно.

Когда первой роте разрешили отпустить в увольнение несколько человек, я присоединился к своим добрым знакомым Васе Кудреватых и Феде Исаченко. Вышли за проходную. Плана у нас не было. Поехали в центр, конечно, на Красную площадь. Молча, постояли напротив Спасской башни, дружно удивились необыкновенной красоте Василия Блаженного. Я рассказывал, что знал о Москве из прочитанных книг. Разумеется, посетили Мавзолей, потом зашли в музей Ленина. Несколько этажей огромного здания заполнены однообразными предметами и бумагами, лежащими в витринах за стеклом и требующими к себе повышенного внимания и почтительности. Все мы, трое сержантов, добросовестно проявляли и внимание, и почтительность, поскольку каждому из нас внушали это с самого рождения. Все, что касалось великого имени Ленина, обязывало к трепетности и поклонению. Сказать по правде, всем было скучно, но никто из нас в этом не признавался.

После этого строгого музея пошли в Зоопарк. Признаться, я ожидал большего. В тесных клетках томились животные и звери. Первое впечатление – чувство жалости. Под небом Москвы скучает по африканскому солнцу слон, в бетонном корыте лежит аллигатор и злыми глазами куда-то смотрит, в грязной воде греет свои толстые и круглые бока бегемот и недоумевает по поводу тесноты предоставленного ему жизненного пространства. Нахохлившись, «вскормленные на воле, орлы» сидели в тесных клетках.

Из Зоопарка я потащил своих подуставших товарищей в Третьяковскую галерею. Я и прежде был знаком с русской живописью, но то, что я увидел здесь, произвело на меня оглушительное впечатление. «Когда-то я проведу в галерее несколько дней», – подумал я.

Намотавшись по городу, все притомились и день закончили в «Чайной», заведении, в котором никто никогда не пьет чаю, а все пьют только водку. Денег ни у кого, кроме Васи Кудреватого не было, и он расплатился за всех. В часть поспели к ужину.

Теперь я свободно ходил по городу. Конечно, приходилось докладывать о своих отлучках замполиту или парторгу, но служба моя стала легче. Меня тянуло иной раз в шум и сутолоку московских улиц, к Большому театру, на Арбат, к Кремлю. Хотелось просто затеряться в толпе, куда-то идти, куда-то спешить вместе со всеми. Только вот некуда и не к кому было мне идти и спешить. У всех прохожих была цель, а у меня никакой цели не было. Я неприкаянно и бесцельно бродил по улицам.

В результате моего усердия в стройбате создалась, хотя бы пока на бумаге, комсомольская организация. Немногим более полутора сотен комсомольцев стало на учет. Провести ротные комсомольские собрания, чтобы избрать ротных комсorghов, пока не получилось. Это удалось сделать только в первой роте, проживающей в одном месте. В других ротах комсorghов пока назначили. Будут собирать членские взносы.

Однажды капитана Рысакова и меня вызвал командир батальона подполковник Гарай. Подполковник никогда не злоупотреблял своей властью и был очень спокойным, внимательным и располагающим к себе человеком. Он хорошо поговорил со мной о комсомольских делах, потом сказал:

– Нам стало известно от твоих прежних сослуживцев, что ты в своей части занимался искусством. Можешь ты оформить наглядной агитацией наш штаб, я имею в виду снаружи? Ну, там, нарисовать плакаты, еще что-то, ты это лучше нас понимаешь.

Я ответил, что смогу.

В прежних воинских частях вся художественно оформительская работа в основном посвящалась военно-патриотической тематике. Шла война и это определяло содержание

наглядной агитации. После войны в стройбате надо было, как-то иначе решать этот вопрос. Недолго задумываясь, я принял за основу своих будущих оформительских работ самые распространенные газетные темы: борьба за мир во всем мире, демократия и социализм, восстановление разрушенного хозяйства после войны, обязательная гордость советских людей за свою великую Родину и т. д. Привычное для меня было дело. Поездил по городу, особенно внимательно посмотрел оформительские работы в парке Горького и в Сокольниках, купил пару плакатов на Арбате и подготовил эскизы будущих композиций. Замполит и парторг результаты этих усилий одобрили. На стройке изготовили большие фанерные планшеты, белила масляные выделил прораб, кое-какие краски и кисти купил в магазине художественных товаров на Кузнецком мосту. Не без удовольствия я принялся за работу. В сдержанном колорите я нарисовал пять панно и разместил их на стене штаба в простенках между окнами. Получилось хорошо, штабной барак преобразился. Комбат поблагодарил меня и предупредил, что руководство Академии обещало в скором времени выделить стройбату помещение для клуба и что я должен иметь это в виду и готовиться к оформительским работам. Замполит и парторг тоже были довольны. Воспользовавшись этой волной всеобщего благорасположения к себе, я попросился в отпуск домой. Ну, хотя бы на пять дней. Замполит сказал: «Пиши рапорт».

Я получил отпуск на семь дней без дороги.

Отпуск и опять служба

Очень трудно жила наша семья. По карточкам выдавали только хлеб, норма небольшая. В этом году партия и правительство приняли решение в очередной раз экономить выдачу хлеба населению. В результате этого моей матери не выдали хлебную карточку. Мама нигде не работала, у нее было четверо детей, а вести домашнее хозяйство и растить детей при коммунистическом правительстве работой не считалось. Поэтому на таких женщинах, как наша мать, государство решило сэкономить расход хлеба. Но, видимо, это давало незначительную экономию и решение о подобной мере было отменено. После этого наша мама хлебную карточку получила. Отец говорил, что жить очень тяжело. «Картошка поспеет, тогда, может, будет полегче».

Наша семья полной мерой испытала кровавые напасти военных грозы. Самый старший мой брат Алексей погиб в самом начале войны где-то в Прибалтике. Второй старший брат Федор прошел всю войну от звонка до звонка, от Москвы до Берлина и не в каком-то метафорическом, а в самом буквальном смысле. Он участвовал в битве за Москву и в битве за Берлин. Первую малую кровь он пролил под Москвой, где-то вблизи Солнечногорска, а в Берлине он получил три тяжелых ранения. До марта 1946 года он лечился во многих госпиталях и был комиссован как инвалид второй группы. В девятнадцать лет он стал офицером, а инвалидом войны он стал двадцати одного года и шести месяцев от роду. Среди прочих наград за войну у брата имеются медали «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». Мне тоже довелось повоевать.

Когда немцы оставляли Новозыбков, произошло страшное событие. Мои родители время отступления немцев решили переждать в деревне неподалеку от города. Через деревню невесть откуда двигалась немецкая команда. Солдаты увидели отца и заорали: «Партизан, партизан!» и поставили моего отца к стенке сарая расстреливать. Один немец передернул затвор и вскинул к плечу винтовку. Мать бросилась на ствол, пуля пробила ей грудь навывлет. Ober-лейтенант остановил расстрел. Отец остался жив, мать тоже выжила. Удивительные совпадения выстраивает жизнь: мой отец был инвалидом Первой мировой войны, а мать стала инвалидом Второй мировой войны.

Жизнь беспросветная. Народ терпит и ни на что не надеется.

А сколько убитых! Ваня Масаров, Алексей Копылов, Коля Малеев, Митя Гержедович, Георгий и Константин Непогодины, Никита Соколов, Павел и Кузьма Дороховы, – каждому из этих друзей и товарищей моих, убитых на войне, не было и двадцати лет.

Во время оккупации я знал одну милую, хорошую девушку Зотову Аню. Ее угнали в Германию. Слава богу, она вернулась домой. Я встретился с ней совершенно случайно в парке и проводил ее домой.

– Мы не смогли эвакуироваться во время войны и остались под немцем. Да разве мы одни! Но ты же видел, как я жила в оккупации. В Германии я тоже честно держалась. Как же мы ждали освобождения! А теперь на нас смотрят, как на виноватых. Мне хочется нормально учиться и работать, а мне на каждом шагу говорят: «Ты была в Германии». От института на каникулах нас посылали на торфоразработки, так даже там меня оскорбляли.

Милая, славная, Аня, что сержант стройбата мог тебе сказать? Что он мог тебе сказать, Анечка? Чем утешить?

В стройбат я вернулся с душой разбитой и подавленной. Всех жалко! И никому ничем невозможно помочь.

Свое возвращение я просрочил на сутки из-за транспортных осложнений. Начальник штаба капитан Филутин, человек пре подлейший, грозил трибуналом, потом собирался посадить меня на «губвахту», потом почему-то отстал от меня... Хозвзвод в отсутствие сво-

его командира функционировал бесперебойно и никаких нарушений служебного порядка не допускал: сапожники сапожничали, портные портняжили, повара варили баланду а писаря писали. Что же касается комсомольцев, то они точно так же, как и все стройбатовцы, служили, работали, нарушали службу и по мере возможностей отлынивали от работы. Словом, все как обычно «Отряд не заметил пропажу бойца». Какой-то взвод из третьей роты ночью учинил драку с местным населением. Говорят, что с обеих сторон участвовало в побоище около полсотни человек. Кто одержал победу не известно, но в больницу попали по несколько человек с каждой стороны.

Как рано в Москве начинается осень, Еще не окончился август, а в Лефортовском парке желтеют березы. Я вспоминал осень в Новозыбкове, вспоминал роскошную осень в Хоботовском лесу под Мичуринском. А какая стояла осень в Белоруссии на Березине в 43-м году – сухая, теплая, долгая и очень желтая. Ночами я часто стоял в караулах. Кричал филин, тихо шумел лес. По звездам я научился определять время смены караула. После того, как я сдавал пост, сменщику так приятно было забраться под теплую свитку или чекмень и, засыпая, прислушиваться к тихому осеннему лесу.

Произошла авария в канализации на Краснокурсантском проезде. Отделение из взвода Васи Кудреватого направили на ликвидацию случившегося. Солдаты спускались в люк и ведрами таскали снизу вонючую грязь. Слесарь Громов, внешностью своей и поведением опровергающий свою фамилию, человек тихий и чахлый говорил:

– Видать родителей своих не почитали, раз довелось вам таким делом заниматься Чудак Громов, прикажут отцы-командиры – и не такое дело станешь выполнять.

А ефрейтор Телегин недавно рассказывал:

– Копали, значит, траншею. Мимо народ ходит. Две бабы остановились, посмотрели на нас и одна баба сказала: «Смотри, какие немцы молоденькие. Без охраны работают». А другая тетка ответила: «А куда они денутся? До Германии далеко отсюда».

Солдаты были одеты в старое трофейное немецкое обмундирование.

Шофер Леванин

В армии не бывает так, чтобы какие-нибудь солдаты служили без командира. Хозяйственный взвод, формально состоявший в моем подчинении, кажется, составлял исключение в этом плане. Портные, сапожники, повара, снабженцы, шоферы, писаря, – все эти мало дисциплинированные ребята, вроде бы, пребывали в моем подчинении, на самом же деле они только делали вид, что подчинялись мне. Они исправно занимались каждый своим делом и мне, практически, не было никакой необходимости командовать ими. Жили они дружно.

Во взводе было три грузовых автомобиля: две еще довоенных полуторки и один «студебеккер» Шофером на «студебеккер» был назначен рядовой Леванин, замечательный во всех отношениях молодой человек: и внешне привлекательный, и характером покладистый, и добрый, и семь классов образования имел, словом, исполнительный и надежный солдат. Выпивал он очень редко и только после рейсов или во время увольнения в город, причем делал он это весьма умеренно, что ни разу не навлекало на него никаких нареканий. Но вот, что случилось однажды.

Вечером после отбоя я посидел недолгое время в кабинете политчасти и, закончив свои дела, направился в казарму на отдых. Сделать это мне не удалось, так как на хоздворе стояло только две машины, «студебеккера» не было. По времени Леванину пора было уже быть в части, но мало ли какие обстоятельства могли задержать его своевременное возвращение и я решил подождать его. Угловое здание на Красноказарменной улице, на третьем этаже которого квартировала первая рота стройбата, имело очень большой двор довольно сложной планировки. В одном из закоулков двора в небольшом помещении располагалась портновская мастерская и там же соседняя комната была приспособлена для проживания портных, писарей и водителей автомашин. Очень долго я ожидал возвращения леванинского «студебеккера» и вместе со мной бодрствовали все обитатели этого помещения, играли в домино, несколько партий я сыграл в шахматы с портным Маширкой, литовцем, призванным в армию после войны. Никто не ложился спать. И вот в начале двенадцатого часа, наконец, послышался шум мотора подъезжающего автомобиля, потом мотор заглух и раздался долгий автомобильный сигнал. Я бросился к выходу, за мной поспешили все остальные. Прямо у двери стоял «студебеккер» и неистово безостановочно сигналил. Я подбежал к машине и рванул на себя дверку кабины – навалившись на баранку, в кабине сидел совершенно бесчувственный Леванин. Я потянул его на себя и он, как куль вывалился из машины мне на руки. Мы занесли Леванина в помещение. Он был невредим, но мертвецки пьян. Я сказал ребятам, чтобы его уложили спать, а сам вместе с одним из водителей осмотрел машину. «Студебеккер» был в полном порядке, и его отогнали на стоянку. Я ушел восвояси.

На следующий день я расспрашивал проспавшегося Леванина, что с ним случилось. Путевой лист у него был в полном порядке, все ездки у него были записаны, права при нем. Я спрашивал у шофера, как он ехал, говорит, что совершенно ничего не помнит.

– А где и с кем пил?

– В Алешинских казармах. Отвозил туда брус из лесосклада, откуда-то со стороны Измайлова. Я не один ездил. Ну, а потом выпили совсем малость. Помню, как выехал за ворота, а потом отключился.

– И ничего не помнишь, как ехал, останавливал ли тебя кто-нибудь? Как это все у тебя было?

– Провал. Даже не знаю, как через проходную сюда заехал.

Вот такая история. В состоянии полной отстраненности от восприятия реальной действительности Леванин провел через Москву тяжелую машину, не нарушил ни разу дорожных

правил, ни на что не наехал, ни с чем не столкнулся, не повредил машину, и сам не причинил себе никакого вреда. Как это могло быть?

Комсорг стройбата

Вышло распоряжение о том, что должность комсорга в Отдельных строительных батальонах вводится в штат части и становится освобожденной. Хозяйственный взвод я сдал старшине сверхсрочной службы Гутникову, мужчине серьезному и постоянно чем-то озабоченному. Я же стал освобожденным комсоргом. Свободности никакой от этого я не почувствовал, что было, то и осталось. Я продолжал заниматься теми же делами, что и прежде: проводил собрания, где удавалось это сделать, писал протоколы, организовывал выпуск стенгазет, выдумывал какие-то поручения активным комсомольцам, собирал членские взносы, заполнял карточки учета, ездил в Политотдел спецчастей Московского гарнизона на инструктажи. Но, если честно сказать, то я не очень понимал, для чего это все надо. Солдаты неохотно ходят на собрания, а если и приходят, то молча сидят и ждут, когда все закончится. Замполит говорит, надо готовить выступающих, тогда собрание будет проходить активно. А как это «готовить выступающих»? Дать им какой-то текст или просто подсказать о чем говорить? В любом случае это будет пьеса. Фальшь!

Недели две назад сорвалось комсомольское собрание второй роты, которая расположена в Военном институте иностранных языков (кстати, в этом институте в то время училась Валерия Борц). По списку в роте числилось 41 комсомолец, а на собрание пришло только 12 человек. Со мной был парторг старший лейтенант Успехов. Как же он бушевал! Вообще-то, он человек смирный, но за «идею» стоит горой. Когда поутих малость, он сказал: «А если б они активно ходили на собрания, то нам бы и делать было нечего». Интересная штука получается. Разве смысл партийной и комсомольской работы состоит только в проведении собраний?

Я прочитал в газете «Открытое письмо» советского публициста В. Финка какому-то зарубежному Эдгару Хаймену. Речь в письме идет о человеке социалистической морали. Какая там социалистическая мораль? Недостатки, материальные трудности, скудость жизни, многое определяют в поведении человека. Трое офицеров стройбата живут с семьями в штабном бараке. Трудно им на свой паек и офицерскую зарплату прокормить семьи. Вот и приходится им заводить дружбу с начальством продуктового снабжения...

Когда я служил в одной из прежних частей, мне пришлось, по каким-то делам, зайти в полковую контору ПФС. И я слышал, как за перегородкой оформляли калькуляцию на солдатский паек.

- Так, помидоры 40 грамм. Пиши.
- Ясно, 40 граммов. Помидоры красные, вкусные и прекрасные.
- Написал? Пиши дальше, соль 14 граммов,
- 14 граммов. Соль соленая, издаля привезенная.
- Сахару 25 граммов. Пиши.
- 25 граммов.
- Да, Володь, сколько ты посыльному Будрова (командир полка) вчера сахару дал?
- Килограмма четыре. Ну, самое большее четыре с половиной.
- Угу. Так, пиши дальше, картошки 250 граммов.
- Понятно – 250. Картошка мороженая немножко.
- Ну, не такая она и мороженая. Ты вот что, когда будешь в пищеблок сахар отпускать, учти те самые четыре с половиной килограмма.

Вот так и получается: литература пишет одно, а жизнь идет по своим законам и диктует свои правила.

Дошло до того, что солдат целыми взводами одевают в поношенное немецкое обмундирование. Отказываются солдаты носить эту одежду, потому что их принимают за немцев. (Интересно, откуда берется эта немецкая, бывшая в употреблении, форма?)

Однажды после семи часов вечера, когда руководящий штабной народ разъехался по домам, в дежурку ввалилась группа солдат. Им предстояло ехать на ночную работу куда-то в сторону Сокольников. Расселись, кто как мог, в тесном помещении. Ожидали полуторку. Закурили.

– Мужики, хотите расскажу, как я женился, – предложил ефрейтор Телегин.

– Когда ж это ты успел? – спросил его приятель по прозвищу Бауер.

– Неважно. Главное, что успел.

– А чего ж ты мне не рассказал? Жмот. На свадьбу пригласил бы.

– Какая там свадьба! Не было никакой свадьбы. Выпили с родней невесты пару поллитровок, вот и вся свадьба.

– Ну и что, теперь ты женатый?

– Не-а, теперь я обратно неженатый.

– Трепло!

– Подожди ты, Бауер, – вмешался Жора Кормухин. – Пусть расскажет.

– Еще в 110-м полку дело было, – начал Телегин. – В деревне, километров за пять от нашего расположения, познакомился я с одной Клавой. Я с ней и так, и сяк, а она ни в какую. Нет – и все! «Распишемся, тогда пожалуйста. Все вы одинаковые. Вам только одно и надо». Пару выходных я с ней дружил, и все мимо. А потом подумал, а чего не расписаться? «Только паспорта у меня нет, – говорю. – Я ж военнослужащий». Мать этой девицы спросила, а какой же у меня документ есть. «Красноармейская книжка, – говорю, – самый настоящий документ». Пошли в Сельсовет. Мне поставили запись в книжку, а у нее паспорта тоже не было, она ж колхозница. Расписались мы с ней в какой-то толстой книге и месяца два до самого расформирования полка, я был женатым. Хорошо было! Клашка моя была бабеч – что надо. А потом на пересылке в Мичуринске, в сортире, я свою книжку потерял. Чистенькую мне выдали здесь.

– Ну и пройдоха, ты Лешка! А если искать будут? – спросил Кормухин.

– Да брось ты, кто там искать будет. А Клавке этой, ей же самой лучше, все-таки, замужем была.

– Слушай Леш, а за что тебя из сержантов перевели в ефрейторы? – спросил Бауер.

– Не знаешь за что понижают в звании? За нарушения!

Телегин закурил и посмотрел на часы.

– Значит так, – начал он. – В полку объявили соревнование, чья землянка будет лучше украшена ко дню Красной Армии. Наш комвзвода придумал на поперечных балках написать лозунги. Балки побелили, а писать решили красной, разведенной на клею, краской. Кисть лейтенант раздобыл в клубе. Я немного писал шрифты, мне и поручили это дело. Примастырился я кое-как, высота был порядка двух метров. В одной руке у меня банка с краской, в другой кисть. Я пишу буквы, а лейтенант стоит внизу в проходе между нарами и наблюдает. И как получилось, не пойму, то ли качнуло меня, то ли я оступился, только банка с краской опрокинулась и вылилась прямо на шинель лейтенанта. А шинель у него была новая, он ее из отреза на заказ пошил в Борисоглебске. Самая лучшая в батальоне шинель была. Как ее отмывали и отчищали, не знаю, а вот мне досталось. «Я тебе устрою», – пообещал лейтенант. И устроил. В ту же ночь вывел меня после отбоя из землянки, приказал взять лом и лопату и повел к сортиру. У каждой роты свой сортир был. А будка большая на восемь дырок. Заходим мы с тыла, где у сортиров устраивают открытое пространство для пробоуха и для чистки. Взводный мне говорит: «Полезай вниз!». Я посмотрел, там все замерзло и под каждым очком narосли столбы говна, прямо в очко выпирают.

– Лезь и руби столбы! – приказывает лейтенант.

Я прыгнул вниз. Наверху от снега было все видно, а внизу темновато. Все схвачено морозом. Столбы, восемь штук, как под линейку стоят, книзу расширяются. Я тюкнул лопатой. Куда там, как бетон. Ломом долбанул, без толку. «Товарищ лейтенант, – говорю, – эти столбы взрывать надо, ломом их не возьмешь». «Руби!», – кричит взводный. Я выкинул наружу лом и лопату, выкарабкался сам и получился у нас с лейтенантом совсем плохой разговор. В общем, сначала трое суток губы, а потом комполка приказал срезать одну лычку.

– А как же новая шинель, – спросил Бауер.

– Я ж говорил, что отчистили.

Солдаты помолчали, потом Бауер сказал:

– А хорошо бы было подорвать эти столбы.

– Ты бы подорвал, только знаешь, что получилось бы? – спросил Жора Кормухин. – И сортир разнесло бы в щепки, и мерзлым говном весь лес закидало бы.

Прошел слух, что к октябрьским праздникам выдадут новое обмундирование и новые погоны. Не будет теперь среди солдат ни артиллеристов, ни пехотинцев, ни летчиков, а будут все, как один, только стройбатовцы. Капитан Филутин пристал ко мне, чтобы я проштамповал сотни четыре с половиной пар черных погон названием нашего стройбата – 124ОСБ. Я решил, что ни за что делать этого не буду, отобьюсь. И отбил. Начал рисовать портрет Сталина для Ленинской комнаты, о котором мне уже несколько раз говорил замполит. «Пусть Филутин попробует оторвать меня от такого важного политического дела», – подумал я.

Над Москвой закружились белые мухи. Что-то очень рано, еще октябрь не кончился, а уже снег. Как же не хочется этого снега, не хочется зимы. Конечно, этот снег растает, но останется в сознании напоминание о быстротечности времени. Зима. Одиночество, неудовлетворенность. Кто одинок осенью, тот будет долго одинок.

Кроме ефрейтора Телегина, в первой роте есть еще один ефрейтор – Сычковский, тихий, смиренный и безотказный человек.

– А кто такой мулла? – спросил он у своего соседа по койке солдата Крыгина.

– Не знаю, – ответил Крыгин, – наверно ишак какой-нибудь.

– Сам ты ишак, – сердито отозвался Шингельбаев. – Мулла – это мулла. Покричит и все идут Аллаху молиться.

– Ну, у тебя свой Бог, – примирительно заявил Сычковский, – а у меня Господи Иисусе.

Мне часто приходила мысль о том, что же такое комсорг батальона? Главное, чем должны заниматься солдаты стройбата, это работать на стройках и желательнее хорошо работать. Кроме этого, они должны выполнять требования внутреннего распорядка своей части. Зачем к этому их загружать еще участием в так называемой, деятельности комсомольской организации, основными признаками которой являются комсомольские собрания, уплата членских взносов, изучение Устава ВЛКСМ и выполнение каких-то там поручений. Для чего это все? Для того чтобы «весело и с песней нести бревнышко»? Неужели от того, что солдат стройбата не просто солдат, а еще и комсомолец у него прочнее и качественнее будет получаться кирпичная кладка или крепче будет держаться на стене штукатурка? Какая разница, комсомолец или не комсомолец таскает бетонный раствор на пятый этаж? Я понимал, что может сложиться такая ситуация, при которой часть общества может объединиться в какую-то организацию. Но это имеет смысл только в том случае, когда организация отвечает решению каких-то реальных жизненных потребностей людей. А комсомол? Он сам по себе, а солдатская жизнь в стройбате идет

сама по себе. Лучше бы каким-то материальным воздействием улучшать солдатскую жизнь и службу и материальным же стимулированием повышать трудовые показания.

В середине октября я был в Политотделе спецчастей Москвы на совещании секретарей комсомольских организаций отдельных батальонов и полков. Практически, никакого совещания не было, потому что никто ни с кем на этом совещании не совещался. Все было как обычно, начальники говорили, а подчиненные слушали. Доклад о подготовке и проведении отчетно-выборных собраний в частях делал начальник Политотдела полковник Воронов. Говорил хорошо. Но из его слов становилось понятно, что главным признаком, характеризующим работу комсомольской организации, будет качество проведения этих самых отчетов и выборов. Посещаемость, активность, подготовка выступающих, подбор кандидатур в бюро и т. д. Опять же все сводится к тому, что организация работает сама на себя.

По вопросу подготовки празднования 28-летия ВЛКСМ выступил капитан Б. Он заместитель начальника Политотдела по комсомольской работе – товарищ из того же ряда, что и все комсорги, которых мне довелось встречать за свою службу. Все они, похоже, воспитаны «Тимуром и его командой». «Заострить внимание...», «Навести надлежащий порядок...», «Повысить идейно-политический уровень...», «Проявить инициативу...» и многое в таком же роде можно было услышать в выступлении комсомольского руководителя. Обогащенный этими наставлениями, я вернулся на свою Красноказарменную улицу.

Недели две назад во взвод Васи Кудреватого прислали двух солдат. Один из них, по фамилии Михайлов, получил освобождение от работы по справке, выданной нашей санчастью. Предоставленный самому себе, он без разрешения несколько раз уходил в город, но к ужину и вечерней поверке всегда возвращался. Никакие проработки на него не действовали. У него появились деньги, как-то он хвастался новыми часами, часто был выпивши. После того, как закончилось освобождение его от работы, он скрылся из части на сутки. Его посадили на гауптвахту («губвахту», – как говорил начальник штаба). Ночью, выломав с помощью часового окно, Михайлов из-под ареста сбежал вместе с часовым, который прихватил с собой винтовку. Через двое суток Михайлов вернулся в роту. Его взяли под стражу, капитан Голубев, начальник санчасти, вел дознание. Дело передали в военно-судебные органы. Часовой был объявлен в розыск.

Мне постоянно хотелось попасть в какой-нибудь Московский театр. На переходе в метро в билетной кассе я купил билет и было у меня сомнение в выборе спектакля. Но как же я ошибался! Сколько я получил удовольствия от своего первого знакомства с театральной Москвой! Билет у меня был на оперу «Евгений Онегин» в театр-студию Московской Консерватории имени Чайковского. Небольшой зрительный зал, спокойная доброжелательная обстановка, негромкие разговоры, публика рассаживается по местам. Гаснет свет. И вот они первые звуки увертюры и я сразу почувствовал, что музыка эта обращена ко мне, только ко мне, к первым годам моей юности, когда я жил еще в родном доме. Всю оперу я прослушал, как зачарованный. Я так боялся, что кто-то со своим начальственным способом воссоздания пушкинского творчества на сцене нарушит и опорочит мое понимание Пушкина и встанет между мной и моим поклонением Пушкину. К моему счастью этого не случилось. Весь спектакль, музыка, голоса, игра артистов, декорации, – все было пушкинское, все совпадало с моим представлением и ожиданием воплощения поэзии Пушкина на сцене. Некоторая камерность сцены только сближала сценическую жизнь со зрительным залом и создавала чувство сопричастия и доверительности ко всему, что происходило на сцене.

Ленского пел замечательный молодой человек, студент консерватории по фамилии Серов. Пел он прекрасно, у него необыкновенной красоты голос, но он ко всему был еще и сам настоящим воплощением Ленского. Его юношеская хрупкость и трогательная незащищенность

в полной мере соответствовали образу юного романтического поэта, воспетого Пушкиным. Я поклоняюсь Лемешеву, но Ленский, воссозданный Серовым, как первая любовь, навсегда остался незамутненным в моей душе. Великие певцы с их харизматической фундаментальностью, не затмили в моей памяти первое в моей жизни прикосновение к опере Чайковского.

Я думал, что Петр Ильич Чайковский был бы очень доволен образом Ленского в исполнении Серова так же, как и всем спектаклем, поставленном студентами Московской Консерватории его имени.

А перед Новым Годом случилось такое невероятное совпадение: мне довелось попасть в Большой Театр на оперу «Евгений Онегин». У меня было стоячее место на самом верхнем ярусе и я смотрел на сцену с высоты птичьего полета. Увертюра, заполнившая высокую огромную пустоту театра, снова мощно и нежно захватила душу. Пели божественный Лемешев и великолепный Норцов. И все было точно так, как это было задумано и создано Пушкиным и Чайковским. Это было для меня как причастие, как дыхание великого творчества великих людей.

Но вот студенческая опера мне запала в душу на всю жизнь. Много позже я узнал, что Петр Ильич Чайковский, во время работы в консерватории преподавателем, всячески стремился помочь этому учебному заведению выйти из материальных затруднений. С этой целью он написал оперу для постановки студенческим коллективом. Либретто оперы написал его брат. Предполагалось, что представление оперы в консерватории привлечет московскую публику и принесет какой-то материальный доход. Опера имела необыкновенный успех, восторгу публики не было предела. После студенческой постановки опера была принята в репертуар Большого театра. И с того времени эта опера вот уже более сотни лет не сходит со сцены не только Большого театра, но и многих других оперных театров нашей страны. Называется эта опера – «Евгений Онегин».

Совсем не комсомольские дела

Комбат сказал:

– Садись в трамвай и поезжай в ЦТКА, дела там неважные. Спроси у командира взвода список не вышедших на работу за два-три последних дня. Если не даст, обратись к начальнику стройплощадки. Да! Узнай, где солдаты Аверьянов и Черепан провели это воскресенье и что известно про Макухина. Это все.

Не дожидаясь обеда, я поехал в Театр Красной Армии. В трамвае была страшная давка. Особенно у Комсомольской площади. Видимо, пришел пригородный поезд и тетки с мешками забили весь трамвай. Какой-то нервный мужчина убедительно говорил широколицей тетке, что будь он неладен ее мешок и что с таким мешком ее не надо было пускать в трамвай, а притиснутая к окну девушка жаловалась, что может лопнуть стекло. Обычное дело, городской транспорт перегружен.

В ЦТКА я приехал, когда взвод обедал. Командир взвода сержант Панченко сидел в артистической уборной, превращенной в его жилище, курил и слушал патефон. Помещение было необычным, над гримерными столиками красовались большие трехстворчатые зеркала, по краям которых светились многоламповые, поворачивающиеся бра, украшенные золотыми дубовыми листьями. Неплохо устроился сержант – зеркала, светильники, патефон... Я поздоровался и посмотрел, что у него за пластинки. «На рейде морском», «Ехал я из Берлина», «Землянка», «Саратовские частушки» – ага! – «Дождь идет опять».

– Поставь-ка, взводный вот это, – я подал Панченко пластинку.

Хорошая музыка, грустная, добрая. Наверно, сидят двое и смотрят, как идет дождь. Может, хотели куда-то пойти, но вот помешал дождь. «Хорошо бы вот так посидеть, – подумал я, – хотя бы с моей мичуринской Катей, слушать ее дыхание и вот эту музыку. Но Катя далеко, а рядом со мной сидит сержант Панченко и он знает, что я приехал неспроста, он встревожен, хотя и не подает виду, но для беспокойства у него есть причина». Я снял с пластинки мембрану.

– Что нового, Панченко?

– Да живем помаленьку, Что у нас нового, откуда оно возьмется? Может, ты что-нибудь новенькое расскажешь.

– Говоришь, нового нет, а вот патефон новый.

– Да это мы в театре попросили.

– Слушай, Роман, ты, наверно, понимаешь, зачем я приехал?

– Догадываюсь. Не по комсомольским же делам.

– Ты прав. Комбату нужен список тех, кто не выходил на работу в понедельник и в предыдущие два-три дня.

– В понедельник? Какого это числа? Не помню, не могу сказать.

– Ну как же, Роман? Кто же, кроме командира взвода, может сказать, где находятся его солдаты?

– Учет выхода на работу ведет начальник стройплощадки.

– А что ты можешь сказать об Аверьянове и Черепане?

– Об Аверьянове, Черепане? – Панченко удивленно посмотрел на меня. – Так они ж у вас в батальоне под арестом сидят.

– Ну да, сидят. А на работу они выходили на прошлой неделе?

– Вроде бы выходили. В субботу я им выдал увольнительные до десяти часов воскресенья, а вернулись они во взвод только в понедельник к концу дня.

Я попросил Панченко, чтобы он провел меня к начальнику стройплощадки. Через лабиринт лестниц, коротких коридоров и каких-то помещений мы добрались до кабинета началь-

ника. Такая запутанность внутренней планировки объясняется звездообразным планом здания театра.

Руководителем ремонтных работ был молодой человек, лет тридцати, высокий с энергичным лицом и светлыми волосами

– Бруевич, – обратился к нему Панченко, – вот просят список тех, кто не выходил на работу.

– Вот хорошо! – живо отреагировал Бонч-Бруевич. – Наконец-то обратили внимание. Вы из батальона?

– Комсорг батальона, – представился я.

– Очень хорошо! Я вам покажу документацию учета рабочего времени. Смотрите.

Я сделал в свой блокнот выписку о выходе солдат на работу с 25 октября по 1 ноября. Бонч-Бруевич просил особое внимание обратить на Макухина, Аверьянова и Черепана.

– Эти, почти, никогда не выходят на работу. У меня план работы по ремонту театра составлен из расчета использования всей численности взвода. А что получается? В лучшем случае на работу выходит половина взвода. Командир не в состоянии руководить людьми и взвод разболтался. Положение серьезное. Если оно не изменится к лучшему, я вынужден буду обращаться в Строительно-квартирное Управление Армии.

Я в полной мере сочувствовал молодому человеку, тем более, что я был уверен в его родственности с кем-нибудь из знаменитых Бонч-Бруевичей. Вернувшись в часть, я обо все доложил комбату.

Через три дня после этой поездки сразу же после завтрака я получил новый приказ: срочно ехать Центральный Театр Красной Армии и арестовать там Макухина. В помощь мне дали коменданта батальона сержанта Богданова. Он взял карабин, мне выдали револьвер. Командиром в ЦТКА был уже другой сержант по фамилии Ломов. Он производил впечатление серьезного и строгого человека. Это он позвонил в штаб батальона о появлении Макухина.

В батальоне было три грузовых машины, но они все были в рабочих поездках и мы с Богдановым поехали в ЦТКА на трамвае.

– Где он? – спросил я у командира взвода.

– На плоской кровле, – ответил Ломов. – Мне идти с вами?

– Не надо. Другие двери на кровлю есть?

– Есть. Но они не задействованы и двери там постоянно на замках.

Я оставил Богданова внизу у лестницы. Сказал ему, чтобы он подал патрон в ствол и держал Макухина на площадке, если он появится один.

– А если не послушается и бросится? – спросил Богданов.

– Стреляй по ногам. Но, думаю, до этого дело не дойдет.

Я поднялся на кровлю. С правой стороны, метрах в десяти от выхода двое солдат в железном корыте мешали бетонный раствор, другие солдаты укладывали бетон у парапета кровли. Поодаль несколько солдат просеивали песок. Макухин стоял около тех солдат, что мешали раствор, курил и что-то рассказывал. Я знал его, хотя знаком с ним не был. Высокий, ничем особенно не примечательный парень. Говорили, что во взводе он почти никогда не бывает, приходит изредка и то только для того, чтобы переночевать. Ходили слухи, что он занимается квартирными кражами. Я не понимал, насколько он будет опасен при задержании. О том, что у него может быть оружие, мне сказали в штабе. Выйдя на кровлю, я стал метрах в трех от двери влоборота так, чтобы Макухину не было видно, что я вооружен. Кобуру я расстегнул еще на лестнице. Кое-кто из солдат обратил на меня внимание и Макухин тоже посмотрел в мою сторону.

– Макухин, тебе придется проехать со мной в штаб батальона, – я сказал эти слова спокойно, твердо и не торопясь.

Солдаты перестали работать и уставились на меня. Макухин растеряно улыбнулся и оглянулся на стоящих рядом с ним солдат, словно приглашая их удивиться вместе с ним тому, что он услышал. Потом он молча посмотрел на меня и вдруг, повернувшись ко мне левым боком, принялся что-то доставать из брючного кармана. Я подумал, что он достает оружие, вынул из кобуры револьвер и готовился взвести курок. Макухин возился с карманом, что-то там у него застревало. Я хотел сказать: «Руки вверх!», но в этот момент я увидел в руке Макухина бутылку водки. Не успел я глазом моргнуть, как размахнувшись, Макухин грохнул бутылку о покрытие кровли и стекло брызгами разлетелось в стороны. Водка растеклась лужей под сапогами Макухина. Я приказал ему идти к лестнице. Но он стоял на месте и, молча, смотрел прямо на меня. Я настойчиво и достаточно громко сказал:

– Мне приказано доставить тебя в батальон и я это сделаю. Иди к лестнице и медленно спускайся вниз!

Я поднял револьвер и выстрелил в воздух. Макухин съехался и как будто присел, потом тихо пошел в дверь на лестницу, не спуская с меня глаз. Я пошел за ним на несколько ступеней выше. Без слов мы дошли до первого этажа. Богданов ждал нас. Макухин попросил, что б ему разрешили взять кое-что из своего чемодана. Я отказал ему и попросил командира взвода, обеспечить сохранность его вещей. Потом я объяснил, как надо будет следовать до места расположения батальона.

– И без шуток, Макухин. Руку буду держать на револьвере. А ты, Коля, патрон вынь из ствола.

– Да ладно, ведите, – махнул рукой Макухин и спросил. – Зачем стрелял?

– Чтобы ты успокоился. Зачем бутылку разбил. Оставил бы ребятам, спасибо сказали бы. Мы с Богдановым привели Макухина в штаб и сдали командиру батальона.

Я не очень понимал, о чем думал комбат, приказывая конвоировать Макухина в трамвае, набитом народом. Он же мог уйти от конвоя, если бы очень хотел. «Что бы мы смогли сделать в толпе? – подумал я. – Нам повезло, что мы сумели устроиться на задней площадке. Макухина поставили у стенки, а сами блокировали его. Но надо отдать ему должное, он держался послушно». И еще я думал, почему подполковник послал именно меня арестовывать Макухина? Понятно, что ни начпрод, ни начфин, ни начальник санчасти для этого дела непригодны, но был же начальник штаба очень уж «офицеристый» капитан. Когда я сдавал ему револьвер, Филутин проверил барабан и неприязненно спросил:

– А без стрельбы не мог обойтись?

– Поехали бы сами, товарищ капитан, – также неприязненно ответил я, – может у вас это и получилось бы без стрельбы.

В этот же день после обеда я ездил в Политотдел. Он расположен в Ружейном переулке неподалеку от станции метро Смоленская. В Политотделе получил восемь комсомольских билетов. На торжественном собрании батальона, посвященном 29-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции, эти билеты будут вручены сознательным бойцам, то есть работягам стройбата, как свидетельство их членства в ВЛКСМ.

В этот же день, когда поздно вечером я занимался в кабинете политработников рисованием небольшого праздничного панно для Ленинской комнаты, в помещение вошли комбат подполковник Гарай, начальник штаба и замкомбата по МТО майор Кудрявцев. Они принесли патефон (тот самый из ЦТКА), полевую сумку и большой кусок выделанной кожи для обуви. Откуда это все? Я не спрашивал. Видимо, где-то был обыск. В полевой сумке были две медали, одна «За боевые заслуги», другая «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Кроме того в сумке находилась печать и штамп какого-то сельсовета, какие-то бумаги, пакет с патронами для пистолета «ТТ» и с полкило пороха. Все это комбат велел хранить в сун-

дуке с партийно-комсомольскими и замполитовским материалами. Комбат и начштаба ушли, а майор Кудрявцев рассказал мне, что Макухин, Аверьянов и Черепан совершали грабежи и воровство. Последнее их дело – грабеж женщины – председателя сельсовета где-то под Москвой. Посадили в подпол детей, потом эти бандюги изнасиловали женщину, забрали в доме все, что им хотелось и вернулись в казарму. Все они трое уже в Таганке.

Перед Октябрьскими праздниками солдатам выдали новое обмундирование, новые бушлаты и новые ботинки с новыми обмотками. Наконец-то! И еще одна новость: Мне присвоили звание старшего сержанта.

Наступило 7 ноября – 29-летие Великой Октябрьской Социалистической революции.

Над Москвой грохнул салют. В небе вспыхнули разноцветные струи, шары и гирлянды. Светящиеся разноцветные столбы соединили небо и землю. Я толкался в толпе на Красной площади, потом пошел на Манеж. Народу и здесь было много. Медленный трамвай осторожно и добродушно пробирался через толпу и поворачивал на улицу Герцена. Я подумал, вот это и есть те самые народные гулянья, о которых завтра напишут во всех центральных газетах, и я старший сержант стройбата в этих гуляньях участвую. В батальон вернулся поздно. Коридор пустой, полы вымыты, у тумбочки сидит дневальный. Из каптерки вышли старшина Левченко и ротный писарь Анатолий Шипарев. Оба высокие стройные, только старшина гарный украинский парубок, а Толя обычный молодой человек, мой ровесник.

– О, комсорг! Ты чего не спишь? – спросил Левченко.

– На Красную площадь ездил.

– Ну и как там? Празднуют?

– Празднуют. Народу прорва.

– Толя, ты с комсоргом иди в каптерку Я один схожу к дежурному. Ждите меня, я скоро, – распорядился старшина.

Втроем мы распили поллитра водки, хорошо поговорили, повспоминали. Толя почти мой земляк, он из Трубчевска, а Василий из-под Полтавы. Он с 1924-го года.

– Меня в 42-м осенью призвали. В начале войны я скот угонял, остался в Саратове у тетки. Оттуда меня и в армию призвали. Смотри, что получается, – доверительно сказал Левченко, – если отпустят из армии в следующем году, мне 23 года будет. Ни образования, ни специальности.

– Не один ты, Вася, такой. Все мы на гражданке пойдем по миру. Одна нам дорога будет – в ученики и в подмастерья. Но ты, Вася, не тушуйся, как-нибудь пробьемся. А потом, ты же красивый парень.

– Да брось ты, – отмахнулся Василий. – Я вот думаю, куда демобилизоваться к тетке, где меня призывали или к родителям.

– Советовать трудно, но я бы поехал к родителям, – посоветовал я.

Письмо от хорошего товарища

Костя Гарнов был, действительно, отличным моим товарищем.

Я познакомился с ним в 62-м учебном полку, где мы вместе прослужили до его расформирования. Костя был направлен с большой группой младших командиров в Мичуринск на пересыльный пункт, а меня как художника-оформителя откомандировали в другую воинскую часть. На пересылке Костю демобилизовали по ранению и он уехал на родину в город Юрьев-Польский. Это было поздней осенью 1945 года, а в следующем году он поступил в техникум. У меня с ним завязалась переписка. Мне нравились письма Константина – откровенные, ироничные, порой с подковырками, но всегда интересные. Вот что он пишет на мое сообщение о том, что волей случая мне пришлось стать комсоргом батальона.

«Для меня это что-то новое. Ты стал активным комсомольским организатором и пропагандистом. Давно ли ты рассказывал мне о художниках Возрождения, втолковывал мне о классицизме и романтизме в литературе и вот теперь ты занят повышением идейно-политического уровня своих комсомольцев и призываешь их служить примером для беспартийной молодежи. Вижу, что ты стал современным человеком. А я, Женя, отстаю. Ведь я даже не комсомолец. Это известие для тебя, наверно, неожиданная новость. Ты считал меня тоже каким-нибудь членом бюро. Я бы, пожалуй, и хотел бы этого, но уже поздновато, мне скоро стукнет 22 года. В техникуме мне уже предлагали вступить в члены ВЛКСМ, но я воздержался, сославшись на возраст.

Напишу-ка я тебе, как я провел день 15 ноября. Проснулся, как обычно, в семь часов. В восемь пошел в техникум завтракать. Карточки на хлеб еще не выдавали, поэтому пришлось позавтракать – если можно назвать завтраком 300 грамм тушеной на воде капусты – без хлеба. Часов в 11 начали выдавать хлебные карточки, полчаса простоял в очереди. Потом пошел заглянуть на доску объявлений. Ура! Получил письмо от тебя, на четырех листах. Оказывается, день не так уж и плох. До занятий оставалось часа три и я вернулся в общежитие. Почитал твое письмо и решил часик вздремнуть. Просыпаюсь к началу занятий и к концу обеда. Столовую закрыли. Пошел на второй урок. В животе пусто. Кое-как просидел до конца занятий и поспешил на ужин. Но, черт возьми, видимо, мне до конца суждено испытать состояние голодного студента. Хлеба, чтоб отovarить карточки, в столовой не было, а на ужин та же тушеная капуста. Не мог я ее есть и ушел из столовой. Подвернулся мне товарищ по несчастью и сообщил мне, что он недавно ходил в чайную, где за пять рублей можно выпить три стакана сладкого чаю с двумястами граммами хлеба. Не заходя в общежитие, мы бегом устремились к чайной, но она уже была закрыта. На соседней улице я знал еще одну чайную и как могли мы скоро двинули туда, но в окно увидели на столах кверху ножками стоявшие табуретки, а на двери – замок. Еле передвигая ноги и проклиная все на свете, мы пошли обратно. Проходя мимо магазина, мы решили зайти. Авось улыбнется фортуна. Зашли и выпросили на карточки по 200 граммов хлеба. Я был в восторге. Было 9 часов, а я впервые в этот день ел. 300 граммов мокрой капусты за еду посчитать нельзя. Мы с товарищем быстро съели свой хлеб, вернулись в общежитие, а потом пошли в кино. Мне не хотелось, но не пропадать же ранее купленному билету. Фильм оказался интересным. А перед сном мне повезло: одна добрая душа угостила вареной (не в мундире) картошкой. Спать я лег успокоенный».

В конце письма Константин пишет: «Да, чуть не забыл поздравить тебя с повышением звания. Если еще лет 20 прослужишь, согласишь и до младшего лейтенанта дослужишься».

Я – избранный комсорг батальона

Кое-как, общими усилиями, с парторгом после октябрьских провели в ротах отчетно-выборные собрания. Отчитываться было не в чем, так что собрания получились просто выборами. И то хорошо – выбрали комсorgh рот. А седьмого января в день Рождества Святого состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание батальона. Собрание это было задумано, как показательное на весь Политотдел спецчастей. Я написал «речи» для всех комсorgh рот и подготовил выступления «активистов». Показуха, так уж на всю катушку! Собрание, как и ожидалось, прошло хорошо. Выбрали бюро. Я остался комсоргом, теперь уже не назначенным, а избранным.

По пути в госпиталь ко мне заезжал старший брат Федя. В октябре его демобилизовали из армии по инвалидности. Все еще мучают его раны. Из Новозыбкова его направили на лечение в Горький. Вечером я проводил его на поезд.

Праздничные неприятности

Подошел Новый Год.

Первого января случилась неприятная история. Как правило, в субботний день накануне выходного или перед праздником командир роты подписывает увольнительные записки, для тех, кому разрешено увольнение в город. А в Новый Год случилось так, что командиры взводов решили отпустить большее число солдат. Подписанных увольнительных не хватило. Надо же так случиться, что я оказался при всем при этом.

– Видишь, какое дело, – сказал мне Левченко. – Некому подписать увольнительные. Жил бы капитан поближе, можно было бы к нему смотаться. И телефона у него нет.

Я посоветовал старшине обратиться к начальнику штаба.

– Видел я его в штабе, по коридору шастал в тапочках. Его подпись действительна.

Василий замялся.

– Одно дело, понимаешь, к нему в штаб зайти, а вот на квартиру, не знаю. Там же у него эта гангрена сухопарая, да и сам он еще тот гусь.

– Другого же выхода нет, – попытался я убедить старшину. – Извинись, попроси, мол, передовики производства просят в город. Может, шевельнется у него что-нибудь человеческое.

– А, может, ты сходишь? Все ж ты батальонная личность.

– Ты что, Василий! Он же меня на дух не переносит так же, как и я его.

Пока я со старшиной роты вели этот разговор, в коридоре у окошка стояли в запоясанных бушлатах шестеро солдат, ожидающих своих увольнительных. Посмотрел я на них и решил идти к капитану Филутину. Чем черт не шутит, а вдруг согласится подписать увольнительные.

Вдвоем с одним из увольняемых солдат Андреем Морозовым мы пошли в штаб. Я поступался в комнату начальника штаба. Дверь открыла его супруга.

– Извините за беспокойство, – обратился я к насторожившейся женщине. – Если можно, передайте товарищу капитану вот эти увольнительные записки. Мы очень просим его подписать их.

– Никаких ваших записок я ему передавать не буду! Он отдыхает. Ишь, какую моду взяли, на квартиру приходить! Всё ходят и ходят.

С этими словами капитанская жена захлопнула дверь.

– Ну вот, видишь, Андрей, жена не разрешает начальнику штаба подписывать ваши увольнительные, – довольно громко, с расчетом, чтобы мой голос услышали за дверью, сказал я обескураженному солдату.

На этом все и могло бы закончиться, солдаты остались в казарме, отдых капитана не потревожили, жена его отвела душу в злобном выпаде против меня. Инцидент был исчерпан, как говорится. Но капитан Филутин решил повысить свое капитанское реноме и проучить меня, позволившего себе такую вопиющую дерзость, как попытку обеспокоить отдых советского офицера. Отдых начальника штаба, не какого-нибудь там штаба полка или дивизии, занятого разработкой стратегических планов предстоящей боевой операции, а начальник штаба – аж! – стройбата в мирное время и в мирной обстановке.

В первый день после Нового Года, когда я с замполитом занимались каждый своим делом, в политчасть появился капитан.

– Знаешь, замполит, я вчера не захотел вставать, а то ради праздника посадил бы вашего комсорга на «губвахту». Вчера, якобы, стучится ко мне в дверь и говорит, чтобы я подписал, якобы, увольнительные. А я отдыхал. Жена ему ответила. Так он, якобы, выразился, что жена командует батальоном. Я б ему показал, какая жена командует в батальоне, только вот вставать не хотелось.

Вот так! Вот и делай добро людям! Замполит, надо отдать ему должное, никак не отреагировал на ябеду начштаба. Но ничего хорошего мне теперь ждать не придется. Филутин со своей недоброй женой осатанели от ненависти друг к другу и ищут разрядки во внешней среде. Недавно Филутин ходил с оторванным лацканом шинели. Кто мог порвать на нем одежду? Майор Кудрявцев с усмешкой сказал: «Это его шука отношения с ним выясняла».

На следующий день в кабинете политчасти капитан Тарасов с замполитом обсуждали вопросы, связанные с проведением политинформаций в первой роте. Я писал рапорт командиру батальона о моем посещении четвертой роты в Воскресенске. И снова в кабинет политчасти вошел капитан Филутин. Он сел к столу Рысакова и опять повел свою галиматью:

– Так вот, замполит, какой случай получился недавно. Сержант Мосягин, содействуя, якобы, старшине первой роты, постучался ко мне на квартиру, якобы, заверить увольнительные. Моя жена сказала ему, чтобы он уходил, так он отвернулся от двери с такой репликой, что батальоном командует жена начальника штаба. Да еще говорит, что он, якобы, протянет этот батальон в «Красной Звезде».

Замполит молчал, капитан Тарасов смотрел на меня единственным глазом. Я встал и сказал капитану Филутину:

– Около вашей двери мы стояли вместе с рядовым первой роты Морозовым. И не содействуя, «якобы», старшине первой роты, а по его просьбе мы пришли просить вас заверить увольнительные записки. Сам старшина к вам идти не решился, побоялся. Мне тоже очень не хотелось обращаться к вам, но жалко было солдат, которых ради праздника следовало бы отпустить в город. Когда ваша жена с грубым окриком захлопнула дверь, я сказал Морозову так, чтоб вы слышали, что жена не разрешает капитану подписывать увольнительные. Это все! Остальное, что вы здесь наговорили, мягко выражаясь, ваши неуклюжие фантазии.

– Замполит! Вы уймите вашего комсорга! А то на него старшина первой роты жалуется, что он, якобы, у него в каптерке хозяйничает. Жалобы на него поступают.

«Вот те на, – подумал я, – Васька на меня жалуется! Ну и ну! Врет ведь капитан и глазом не моргнет».

Вчера я поздно сидел в политчасти. Филутин зашел ко мне и пообещал разжаловать меня в рядовые. В ответ я пожелал ему удачи в его намерении. «А черт с ними со всеми! Неужели никогда в армии не закончится эта крепостническая система отношений офицеров с солдатами?» – чертыхнулся я про себя.

На другой день я дописывал рапорт комбату о состоянии дел в четвертой роте, парторг перебирал свои бумаги, замполит читал «Правду». Открылась дверь и в политчасть вошел комбат. Я встал, парторг и замполит остались сидеть.

– Ты в какую роту ездил, Мосягин? – спросил подполковник.

– По вашему приказанию в четвертую роту в Воскресенск. Заканчиваю отчет о поездке.

– Вот что капитан, – обратился комбат к замполиту, – я думаю наказать Мосягина. Я думаю, – продолжил подполковник по-хорошему глядя на меня, – сотни полторы ему премии дать и объявить благодарность в приказе.

В политкабинете состоялась недолгая немая гоголевская сцена. Совершенно сбитый с толку замполит недоуменно посмотрел на меня, потом негромко промямлил:

– Мосягину стоит.

– Мне доложили, – объяснил комбат, – о результатах Мосягина в Воскресенске. Он там хорошо поработал.

Вот как судьба играет человеком. Начальник штаба грозитя разжаловать, а командир части обещает премию и благодарность.

В каптерку первой роты я перестал заходить.

Что же касается премии, благодарности и разжалования, то ни первого, ни второго, ни третьего не случилось.

Из какого-то очень высокого штаба в стройбат приехал с проверкой очень толстый и очень важный полковник по фамилии Плоткин. Он проверил все, что только можно было проверить в батальоне. Я рисовал портрет маршала Василевского, когда проверяющий с парторгом зашли в Красный уголок. В руках у меня были кисти и палитра.

– Что, художник? – спросил полковник.

– Комсорг батальона, – представился я.

– О-о! – полковник протянул мне пухлую, но крепкую руку.

И, кажется, ничего предосудительного во всем этом не было, но вот полковник Плоткин перед отъездом из батальона сделал замечание парторгу: «Все-таки, я полковник, у меня пузо. А он тоненький, ну и сержант, а смотрит на меня как на витрину».

– Не хотел он тебе делать замечание, но обиделся, – с упреком рассказал мне парторг.

Вот уж воистину: «Перед лицом начальственным лицо подчиненное должно иметь вид почтительный и дурковатый, дабы разумением своим не смущать лицо начальствующее». «Чего это полковнику не понравилось в моем взгляде?» – подумал я. Вот и разберись в людях, мне полковник показался вполне нормальным мужиком. С чего это он обиделся? Но это пустяки, так – ерунда, цветочки, как говорится, а вот ягодки мне преподнесло мое, дежурство в Политотделе.

Комсорги отдельных частей, оказывается должны в очередь дежурить в Политотделе. Срок дежурства – сутки. Оно бы и ничего, но в Политотделе имеется некий подполковник по фамилии Нетчик. Личность, не приведи Бог. Он заместитель начальника Политотдела. Этот мужчина из тех товарищей офицеров, которые считают нижних чинов в армии изначально виноватыми перед своими начальниками. Виноватыми не потому что они провинились в чем-то, а потому только, что они – солдаты и сержанты, существа, которые хотя и не пещерные жители, но еще и не люди. Дежурные поступают в распоряжение этого верного служителя системе. Плохо, что дежурные не имеют строго определенных обязанностей и получается так, что они пребывают в услужении всему штату политуправленцев. Ночью я должен был отвечать на телефонные звонки и принимать телефонограммы, это правильно и понятно, но перед уходом домой, подполковник Нетчик вынес из кабинета начальника Политотдела стаканчик, наполненный карандашами разных цветов, и велел мне заточить их. Ночь прошла спокойно. Утром одним из первых в Политотделе появился Нетчик. Место дежурного находилось в коридоре около тумбочки. Нетчик вызвал меня к себе в кабинет.

– Это вы так заточили карандаши? – вопрос был задан тоном обвинителя и ничего хорошего мне не предвещал.

Я ответил утвердительно.

– Вас что, никогда не учили, как надо затачивать карандаши? Вот смотрите, – подполковник показал виртуозно заточенный карандаш.

Круглый обрез начала конуса заточки представлял собой идеально правильное кольцо, а сам конус от цветной одежды карандаша до грифеля являлся совершенством токарного искусства. Никогда ничего подобного я не видел.

– Вот как надо затачивать карандаши! А вы что сделали? Разве можно такое безобразие ставить на стол начальнику Политотдела? Вы же комсорг, вы должны понимать, что от вас требуется.

– Я не умею так затачивать карандаши, – покаянно объяснил я Нетчику.

– Не умеете! А надо уметь!

– Я умею командовать расчетом 82-х и 120-миллиметровых минометов. И не в одном уставе воинской службы я не нашел ни одного требования об умении искусно затачивать карандаши, – закипая внутри, но очень скромно возразил я подполковнику.

– А у вас должность не командира отделения. Вы комсорг батальона!

– Тогда вам надо было бы подбирать комсоров по признаку наличия у них способностей красиво затачивать карандаши, – я произносил эти слова и, хотя понимал, что не следовало бы так разговаривать с начальником, но мне, тем не менее, нравилось, как точно я формулирую свои мысли.

– Вы нас не учите, как нам следует поступать! Карандаши он не умеет точить. Вас же не яму заставляют копать! – подполковник был преисполнен негодованием.

– А вот это невозможно, – с удовольствием подлил я масла в огонь.

– Как это невозможно! – Нетчик даже с места привстал. – Что вы себе позволяете?

– Разрешите доложить. Вы же не предупредили меня, что на дежурство в Политотдел необходимо являться с лопатой. Чем же я буду копать яму? А если у вас есть лопата, укажите, где копать и я выполню ваше приказание, выкопаю для вас яму.

– Идите на свое место в коридор! – крикнул подполковник.

Этот диалог состоялся утром, впереди еще был целый день дежурства. «Уж лучше бы мне гравий таскать на пятый этаж», – подумалось мне. На прощанье, когда закончилось мое дежурство, подполковник Нетчик пообещал мне объявить выговор в приказе по Политотделу.

На другой день вместе с парторгом мы ездили в Воскресенск. Четвертая рота нашего стройбата постоянно преподносила командованию нежелательные сюрпризы: то нарушения дисциплины, то невыход на работу, то самоволки, то невыполнение плана. Провели мы с парторгом политинформации по взводам, ротное собрание организовали с вопросом укрепления дисциплины и порядка. Пустое это дело. Гастрольная поездка, не больше. Я пытался объяснить солдатам, что хорошо служить и хорошо работать значительно легче, чем плохо служить и плохо работать. Парторг поездкой остался доволен, а я – нет.

Через два дня в штаб пришло сообщение из Воскресенска о том, что рядовой по фамилии Бугрин украл две пары новых солдатских ботинок и скрылся из подразделения.

Честь не по чину

Вызвали в Политотдел. Я решил, что начинается для меня веселая жизнь. Видимо, подполковник Нетчик состряпал на меня обвинительный акт. Конкретного материала у него против меня не было, но разве в этом дело. То, что я в своем ничтожестве не проявил перед товарищем подполковником достаточного холуйского трепета, вполне хватило бы, чтобы взять старшего сержанта на цугундер. Ехал в метро и думал, буду молчать, как Зоя Космодемьянская.

Но!!! В Политотделе мне вручили мандат делегата Всармейского совещания военных строителей, которое будет проходить в Краснознаменном зале Центрального дома Красной Армии с 27 по 31 января 1947 года. Номер билета 517.

– Если вы будете выступать, а мы записали вас выступающим, то ни в коем случае никого не критикуйте и не поучайте. Просто минуты две-три порассказывайте о какой-нибудь батальонной стройке. Согласуйте своё выступление со своим замполитом, – так напутствовал меня начальник Политотдела полковник Воронов.

Самое же удивительное меня ожидало еще впереди.

Совещание открыл начальник Главного строительного управления Вооруженных Сил Союза ССР генерал-лейтенант Антипенко. После его речи начали зачитывать состав президиума совещания: Министр Вооруженных Сил Союза ССР генерал армии Булганин, Начальник Тыла Вооруженных Сил генерал армии Хрулев, упомянутый выше генерал-лейтенант Антипенко, множество других генералов и офицеров и где-то ближе к концу списка прозвучала фамилия старшего сержанта Мосягина. О как! Так довелось мне посидеть почти рядом с главными лицами руководства Вооруженных Сил нашей страны на сцене Краснознаменного зала ЦДКА.

Президиум в полном составе сидел на сцене только в первый день работы совещания, остальные дни я сидел в зале, терпеливо выслушивал скучные речи выступающих и от усердия что-то записывал в депутатский блокнот.

Но что было самого замечательного на совещании, так это завтраки, обеды и ужины. Кормили великолепно, все депутаты, независимо от звания и должности кормились в одном зале ресторана. Такой вкусной и богатой еды я еще никогда не пробовал. Такие слова, как отбивная, бифштекс, картофель фри мне приходилось только в книгах читать. Эти яства я попробовал первый раз в жизни. Это было главное впечатление от совещания военных строителей.

Выступать мне, слава Богу, не пришлось.

Совещание закончилось речью генерала армии Хрулева, громкими, продолжительными аплодисментами и даже криком о славе товарищу Сталину.

«С огромным воодушевлением участники совещания приняли приветствие великому вождю народов И. В. Сталину», – так закончилась в «Красной Звезде» от 1 февраля 1947 года последняя публикация о совещании строителей Вооруженных Сил Союза ССР.

Я не понимал только одного, почему ЦДКА называли Домом Красной Армии, а не Домом Советской Армии. Ровно год назад в феврале 1946 года Красная Армия перестала существовать и превратилась в Советскую Армию, которая включила в свой состав Ракетные войска, Сухопутные войска, Войска ПВО и ВВС, а также другие формирования, кроме ВМФ, пограничных и внутренних войск.

5 февраля 1947 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о демобилизации рядового и сержантского состава 1923 и 1924 годов рождения. Демобилизацию предложено провести с марта по июнь месяц.

– Послушай, Рачкайтис, я тебе отдам три года своей жизни, только я вместо тебя уеду домой из этого батальона, а ты оставайся за меня дослуживать мой срок в армии, – обратился я к одному из солдат моего бывшего взвода.

– Почему?

Да мало ли, почему. Вот к примеру. Парторг, старший лейтенант Успехов спросил у меня:

– Где был вчера? Почему поздно приехал?

– После посещения взвода третьей роты из Сокольников заехал в Третьяковскую галерею.

– Другого времени не нашел?

– Не нашел.

– Больше, чтобы никуда без разрешения не ездил.

Успехов – парторг, я – комсорг, должности близкие по штату, но он офицер, а я – сержант, значит парторг – начальник. Кроме того, все офицеры в штабе, по определению, тоже являются моими начальниками. Вот такая служба.

Жора Кормухин

Ширококостный, кряжистый, с длинными руками, с головой низко посаженной на широкие плечи, Жора производил впечатление очень сильного человека. Так оно и было. Нарочитая грубость в обращении со своими сослуживцами скрывала покладистую натуру этого солдата. Он не был ни грубым, ни обозленным, хотя, что греха таить, долгая и беспросветная солдатская служба могла испортить любого человека и свободно довести его до мизантропии и несдержанности в проявлении своего настроения. Жора служил уже пятый год и срока окончания своей службы он не знал, как, впрочем, и все другие солдаты стройбата.

С самого начала формирования стройбата, когда еще рота капитана Тарасова размещалась в палатках, Жора попал в одно отделение с туркменом Султаном Кокобаевым. Лето 1946 года было теплым и палаточная жизнь была сносной. А нары, они везде нары. Что в палатке, что в каком-нибудь казарменном помещении. Причем командир взвода сержант Василий Кудреватых был добрым и спокойным человеком, а это далеко не последнее дело, когда командует солдатами порядочный человек.

При комплектации строительных бригад Жора Кормухин и Султан Кокобаев попали в разнорабочие. Первое, что им предстояло выполнять – это пробивание отверстий в кирпичной кладке стен, перегородок и в перекрытиях для монтажа системы отопления, водопровода и электросети. Жора своей работой был доволен. Вдвоем со своим напарником Султаном они очень сноровисто долбили стены и потолки. Об электродрелях в то время никто не имел ни малейшего понятия. Никакого начальства над ними не стояло. Получив задание, Жора с Султаном уходили к месту работы и целыми днями занимались своим делом без постоянной оглядки на командира отделения или на прораба. План они всегда перевыполняли и в соцсоревновании, о котором они ни духом, ни слухом ничего не знали, занимали первые места.

По сути, и по справедливости Жору следовало бы комиссовать и демобилизовать из армии еще в январе 45-го года, после контузии, которую он получил в боях за Варшаву. После госпиталя, его посчитали годным к строевой службе и направили в запасной полк. Жора был практически здоров, но последствием контузии явилась и задержалась в его большом теле одна несущественная, по мнению лечащего врача, мелочь – у Жоры начался ночной анурез. Это доставляло немало сложностей в казарменной жизни старослужащего солдата.

Врач успокоил Жору и сказал, что это дело временное и до свадьбы все образуется. Но вот уже больше полутора лет Жора мучился своим недугом, а улучшения пока никакого не намечалось. Верный Султан по ночам будил Жору и тихо бормотал ему на ухо «Понимаешь, пора». Но это не всегда срабатывало...

Недели за две до переселения роты капитана Тарасова из палаток на постоянное место жительства в трехэтажных дом, заболел Кокобаев. Утром он не вышел на построение, ротный санинструктор померил у него температуру и ахнул – выше 40 градусов. Султан ни слова не говорил, дышал тяжело и не открывал глаз. Вызвали скорую помощь. Подъехать к палатке, где лежал больной солдат, оказалось невозможно. Пока сустились с носилками, Жора взял на руки Султана и вынес к машине на проезжую часть. Больше двух недель пролежал Султан в госпитале. Переселение из палаток в жилое помещение состоялось без него. Жора на новом месте жительства занял ему место рядом с собой в нижнем ряду двухъярусных кроватей. После госпиталя Султан очень исхудал и казался выше своего роста, а был он на целую голову выше своего товарища. С этого времени двое солдат, русский и туркмен стали настоящими друзьями. До самой зимы они долбили дыры в стенах пятиэтажки под монтаж сантехоборудования и устройство электропроводки. На вид это была странная пара: коренастый с широкими плечами, склонный к полноте Жора и высокий узколицый черноглазый и черноволосый Султан. И

по характеру они были совершенно разными: балагур, насмешник и хохмач Жора был полной противоположностью своему сосредоточенному и постоянно молчаливому другу.

Работники они были безотказные. Случалось, что им перепадала халтура. Перед Новым годом в основном здании академии, построенном архитекторами Кваренги и Растрелли еще в восемнадцатом веке, рухнула, подгнившая на опоре от постоянного протекания кровли, деревянная балка. Жору и Султана привлекли к работе по ликвидации этой аварии, а поскольку работа была сверхурочная, внеплановая и очень срочная, то им заплатили какие-то деньги. Несколько дней после этого по вечерам друзья, сидя на койке, съедали буханку черного хлеба, купленную на Бауманском рынке за сто рублей.

В начале года большую часть роты капитана Тарасова, в том числе и взвод, в котором служили Жора с Султаном, перевели в Главный госпиталь Советской Армии имени Бурденко, расположенный на Госпитальной площади, вблизи Лефортовского парка. В здании «Главной Гошпитали», построенной еще при Петре Первом, шла частичная перепланировка в терапевтическом отделении, связанная с разборкой существующих и устройством новых стен и перегородок. Солдат разместили на жительство в довольно сухом и теплом подвале. Для Жоры с Султаном нашлось и в Госпитале дело по пробиванию отверстий для монтажа различных коммуникаций. Командир роты капитан Тарасов решил воспользоваться подходящим, по его мнению, случаем и обратился к одному из врачей госпиталя с просьбой о возможной помощи Кормухину в излечении его недомогания. Врач оказался человеком добрым и внимательно отнесся к просьбе капитана. Первым делом он решил проверить, какое количество жидкости за ночь выделяется нездоровым солдатом, и сказал капитану, чтобы он организовал такую проверку.

– Ты вот что, – распорядился Тарасов, обращаясь к старшине роты, – дай указание дневальному, чтобы он через каждый час будил Кормухина. Найди для этого какую-нибудь посудину. Врач обещался помочь ему. Утром он посмотрит, сколько там наберется этого продукта, а потом Кормухин будет сдавать анализы.

В длинном коридоре подвала старинного здания госпиталя старшина еще раньше заприметил большую стеклянную бутылку, видимо, бесхозную, и поэтому намеревался как-нибудь приспособить ее в своем ротном хозяйстве для какого-то употребления. Поскольку необходимости такой пока не представлялось, бутылка стояла на своем месте. После вечерней поверки старшина отдал соответствующее распоряжение ротному санинструктору и дневальным. Жоре предстояла беспокойная ночь.

Утром, когда подполковник медицинской службы, человек пунктуальный, встретился с капитаном Тарасовым и ротный старшина проводил их в укромный уголок коридора, где стояла участница ночного эксперимента – большая бутылка, оба офицера, недоумевая, уставились сначала на нее, а потом на старшину. Старшина стоял, как и полагается нижнему чину, поодаль от начальства и не сразу понял, что вызвало замешательство офицеров. Он шагнул вперед и ахнул – большая многолитровая бутылка была доверху наполнена мутной желтоватого цвета жидкостью.

– Вот негодники! – возмутился старшина. – До сортира всего-то каких-нибудь полсотни метров оставалось пройти, а они сюда наладились. Ну, я им устрою сегодня строевую подготовку!

– Бросьте, старшина, не стоит придавать этому значения, – усмехнулся медицинский подполковник. – Обычная солдатская проделка. Анализ – так анализ! Вся рота постаралась. Шутники, однако, они у вас. Да и то сказать, скучно служить в стройбате.

Действительно, жить в стройбате было скучно, мало сказать – скучно, томительно. Все только и ждали демобилизации. В армии в 1946 году еще служили мужчины, призванные до войны. Все понимали, что война – дело всенародное, надо воевать, надо служить. Но война закончилась, страна праздновала Победу, а неисчислимое множество молодых мужчин обречены были тянуть солдатскую лямку. Самое безысходное в этом было то, что никто не знал,

когда наступит конец изнурительной жизни в бесчеловечных условиях разных стройбатов, запасных частей и других воинских подразделений второстепенного назначения.

Кормухина демобилизовали в апреле 1947 года, вскоре после Указа о демобилизации его возраста. Он уехал на родину в Торопец, оставив за плечами пять с лишком лет солдатской службы

ЧП в Воскресенске

Прошло больше месяца с того времени, как скрылся из расположения четвертой роты рядовой Бугрин. В Воскресенске за это время одна за другой были ограблены швейная и сапожная мастерские, участились квартирные кражи, совершено несколько разбойных нападений на людей, идущих в позднее время со станции. И милиция, и Военкомат были оповещены о дезертирстве Бугрина. Криминальная обстановка в Воскресенске и до его дезертирства была неспокойная, но теперь многие преступные действия приписывались Бугрину с какими-то двумя его напарниками.

Был случай: на станции взломали торговую палатку. Дежурный милиционер потом рассказывал с полной уверенностью, что это дело рук Бугрина. Их было трое. Милиционер открыл огонь, когда воры уходили. Был ранен один из подельников. Бугрин передал мешки с наворованным третьему, а сам взвалил на плечо раненого и сумел скрыться от преследования.

Его выследили, когда он... Нет не так. Надо рассказать об этом подробнее. Четвертая рота была расположена на территории Химкомбината. На проходной к солдатам привыкли и пропускали их свободно и на вход и на выход. Бугрин пришел перед отбоем в каптерку к старшине четвертой роты и потребовал чистое теплое белье и портянки. Старшина сразу же начал соображать, как не вызывая подозрения Бугрина, оповестить милицию или охрану комбината о его появлении в роте. Время на размышления не было и старшина сказал, что в каптерке все белье стиранное, уже ношенное, а в кладовке есть несколько пар нового белья.

– Пойдем! – согласился Бугрин.

– Это рядом, – пояснил старшина. – Только ключ у писаря он принимал белье. Я позову его.

– Зови, – велел Бугрин и стал за притолокой у открытой двери каптерки.

Старшина позвал писаря. Прикрывая спиной своего гостя, потребовал у писаря ключ и одними губами сказал ему: «Здесь Бугрин, иди на проходную». И сразу же громко распорядился:

– Ну, что стоишь? Мне только ключ и был нужен. Иди в казарму.

Бугрин переоделся, поговорил со старшиной и, дождавшись отбоя, ушел. Он подходил к выходу из коридора, когда ему встретились два милиционера и один охранник химкомбината.

– Солдат, где тут у вас Бугрин? – спросил один милиционер. – Только тихо!

– Вам Бугрин нужен? Пойдемте, я вам покажу, – сказал Бугрин. – Он как раз появился в роте.

В сопровождении милиционеров и охранника Бугрин вошел в казарму. Еще не уснувшие солдаты поднимали головы и удивленно смотрели, как Бугрин идет под конвоем по проходу между нарами. У противоположной двери казармы Бугрин указал рукой на спящего солдата и тихо сказал охране: «Вот он здесь лег спать». Милиционеры обнажили револьверы, Бугрин быстро вышел в коридор и скрылся на территории химкомбината. Обман обнаружился быстро. Охранник побежал на ближнюю проходную, чтобы по телефону предупредить заводскую охрану и милицию. Милиционеры кинулись к ограде.

А Бугрин быстро шел к главной проходной. Он мог бы скрыться и на этот раз, но он выдал себя сам. Вахтер говорил, что его приняли за мастера одного из цехов и никто не собирался его задерживать. Но на проходной он увидел милиционеров и подумал, что это засада. Он приблизился к ним, протянул руки и сказал: «Берите меня. Я – Бугрин».

Демобилизация Кокобаева

В мае демобилизовали небольшую группу солдат 1923 и 1924 годов рождения. Эти ребята отслужили в армии, кто четыре, кто пять лет, почти всем из них пришлось повоевать. Мне казалось, что эту демобилизацию в батальоне отметят каким-то мероприятием, но ничего не было. Ни слова благодарности за долгую службу, ни малого намека на необычность этого долгожданного события, – ничего не было. Документы, проездной билет до места жительства в руки и прощай, солдат. Такая казенщина никого не беспокоила, главным было то, что, наконец, пришло освобождение от режимной принудитовки, что предстоит возвращение домой и встречи с родными и близкими. Следует заметить, что эта демобилизация оказалась последней, при которой увольняемым из армии солдатам и сержантам выдавалось денежное вознаграждение, размер которого начислялся суммой всех помесечных выплат за все годы их службы. Не Бог весть, какие это были деньги, но все же не с пустым карманом солдат возвращался домой из армии. При последующих демобилизациях эти выплаты были отменены.

Перед войной в 1940 году маршал Тимошенко, сменивший маршала Ворошилова на посту Наркома Оборона СССР, отличился тем, что по его приказу у красноармейцев и младших командиров при демобилизации отбирали новое обмундирование и отпускали домой в той одежде, в которой они призывались в армию. Если же штатская одежда по каким-то причинам у кого-то не сохранялась, то увольняемым выдавали старое, бывшее в употреблении обмундирование. Это имело немалое значение для живущих в нужде и бедности советских людей. Одно дело, когда солдат приходил со службы в хорошей исправной одежде и обуви, которую еще можно было носить какое-то время на «гражданке» и совсем другое, когда молодой человек возвращался из армии в залатанных штанах и разбитых ботинках.

В народе об этом говорили глухо, но с явным осуждением.

В 1947 году Генералиссимус не мелочился: и неизношенную форму оставил служивым и денюжат малость подкинул. Правда, через год он одумался и денежные выплаты солдатам за службу отменил...

Среди подлежащих демобилизации солдат оказался и Султан Кокобаев. Необщительный и малоразговорчивый туркмен после отъезда своего друга Жоры Кормухина совсем замкнулся. Командир взвода предложил ему перейти из разнорабочих в бригаду маляров, в которой работало несколько узбеков, но Кокобаев отказался и в его отказе проскользнула малая доля высокомерия. Служба для него была ничем иным, как наказанием и он не искал облегчения в ней. Когда закончилась работа по пробиванию отверстий в кирпичных стенах, он таскал строительные материалы по лестницам и коридорам в здании госпиталя, в те помещения, где проводились ремонтные работы, убирал строительный мусор на местах производства работ, выполнял разгрузочные работы и все это он делал без малейших возражений, молча и сосредоточенно. Считалось, что норму свою он выполняет, и каждый месяц ему закрывали наряд на сто и более процентов. Кем он был на Родине? Я как-то пытался с ним поговорить, но Султан уклонился от разговора, как это делает взрослый человек, не устаивая вниманием неразумного мальчишку. Это получилось неизбежно. Действительно, что я мог понимать в том, как живут туркмены в своей жаркой стране, да еще под солнцем сталинской конституции.

Но вот подошел 1947 год! Наступил апрель и рядовой солдат, разнорабочий стройбата Султан Кокобаев получил в штабе документы о демобилизации и денежное вознаграждение в размере всей зарплаты, которую он получал во все время своей службы.

Взвод был на работе, в казарме было пусто. Трое: Султан, Вася Кудреватых и я сидели за столом. С нами должен был быть еще старший сержант Федя Исаченко, но он загремел на гарнизонную гауптвахту – сорвался парень и капитан Филутин отвел на нем душу.

...У Кокобаева потемнело лицо, и он стал похож на араба из тысячи и одной ночи. Только белки глаз да зубы светились белизной. Его рука немного дрожали когда он наливал водку.

– Пей, Женя, пей, Вася. Если б был здесь Исыченко, можно было бы все деньги... Пей, Женя!

– Молодец, туркмен. Амыр коенден, иманым койсин, Султан! – Я произнес туркменскую поговорку, которой меня научил Султан: «Лучше потерять друга, чем веру в него».

– За твое, Женя, за твое, – говорит добрый Кокобаев и из-под черных бровей белки его глаз так страшно светятся, что он уже не дост – друг, а дикий азиат, тот самый, который вот-вот кинет камень в бедную поленовскую грешницу.

– Султан, почему ты не пьёшь?

– Я пьяный, Женя, – говорит Султан, как-то особенно мягко произнося букву «ж» в моем имени, отчего имя мое звучит непривычно мягко и ласково.

Султан уезжает в среднюю Азию. Азиат! Почему так тихо в казарме? Почему уезжает Султан в свою Азию? «Почему Султан уезжает, а я остаюсь в стройбате? Когда же я? Когда же кончится моя служба?»

Мне оставалось служить 3 года и 6 месяцев!!!

Офицерская должность

Должность комсорга в стройбате с мая месяца стала штатной офицерской должностью. При сержантском звании я был аттестован на офицерскую должность и начал получать 700 рублей должностного оклада. Для сравнения: инженер, окончивший институт и направленный на работу по распределению, первую зарплату получал в размере 600 рублей.

Большую часть зарплаты я стал посылать родителям.

Должности командиров взводов в стройбате с этого времени стали занимать тоже офицеры. Мое сержантское офицерство мои товарищи Федя Исаченков, Толя Шипарев, Вася Кудреватых приняли, как должное и даже с одобрением. Отношения их остались прежними. А вот штабной начальник капитан Филутин, этот как будто на ежа сел. Для меня же это имело значение только в том смысле, что я мог оказывать хотя небольшую помощь родителям. Я помнил рассказ своего отца, когда был в отпуске.

Отца попросил его старый знакомый, занимавший какую-то должность на маслозаводе, отремонтировать дверную коробку складского помещения и врезать замок. Расплатившись за работу, знакомый угостил отца кружкой густых и свежих сливок. По дороге у отца схватило острой болью живот. Его наголодавшийся желудок не принял непривычную пищу. Отца затошнило. Дойдя до озера у каменного моста, он не то что лег, а просто упал на траву. Отторжение деликатеса облегчило его состояние. Придя в себя, отец потихоньку добрался до дома.

После праздника Победы я встретился с Виктором Барановским, моим хорошим товарищем по партизанскому отряду. В 1943 году мы попали с ним в серьезную передрагу: партизанский отряд соединился с Действующей Красной Армией, а я с Барановским застряли в немецком тылу за Березиной. Ситуация была сложная, если не сказать критическая. В деревню, где мы на недолгое время задержались, вошли немцы. Мы укрылись в болотистом кустарнике неподалеку от деревни. С нами были три женщины, маленький ребенок и корова. Одна из женщин – сестра Виктора с ребенком, две другие – его знакомые. Сестра Виктора ни за что не хотела расставаться с коровой. Несколько раз Виктор и я ходили на разведку, в результате чего мы уяснили, что весь берег Березины патрулируется немецкими командами.

Надвигалась зима, надо было выходить к нашим. Трудно сказать, что было бы с беглецами, чем бы закончилось наше болотное сидение, если бы не Виктор. Человек интеллигентный, художник по образованию, он проявил мужество и находчивость, свойственные только смелым и решительным людям. На пятый день, когда морозом уже схватывало болотную воду и кустарник покрывало изморозью, Виктор ушел к Березине, как он сказал, проведать обстановку и посмотреть что к чему. Он хорошо знал эти места с довоенного времени. Отец Виктора бывал здесь по служебным делам и брал с собой сына пожить на природе.

Виктор отсутствовал недолго. Вернувшись, он сказал, что с того берега нам подадут лодку и надо торопиться. Вслед за Виктором мы все быстро добрались до Березины. Когда спустились к воде, я сразу же увидел на другом берегу одетого во все черное мужчину. Он махнул рукой, сел в лодку и, сноровисто работая веслами, скоро пересек довольно широкую в этом месте реку. Он сказал, что в лодку можно садиться только четверем человекам и еще что-то очень серьезно сказал он Виктору, указывая на меня. Переправляться на другой берег предстояло десяти человекам, поскольку Виктор забрал с собой четырех военнопленных, с которыми он встретился, когда ходил разведывать обстановку. Эти четверо бежавших военнопленных сидели в болотистых кустах, замерзали и ждали неизвестно чего. Мужчина, пригнавший лодку, ушел после первого же рейса и больше его никто не видел.

Тогда, в 43-м году, я не очень-то задумывался над тем, откуда взялся тот спаситель, молодой мужчина в черном штатском пальто в сапогах и черной фуражке, рисковавший ради не

знакомых ему людей собственной жизнью. На том участке Березины ее берега с обеих сторон густо поросли кустарником и близко к воде подступающим лесом. Как оказался в прямой видимости с другого берега неизвестный мужчина именно в тот момент, когда Виктор в поисках спасения вышел к реке и они увидели друг друга? Много лет прошло с тех пор, а я все думаю, что роковые и необъяснимые совпадения иногда случаются в жизни, хотя принято считать, что чудес не бывает на свете.

Виктор в армии не служил. После войны он совершенно не понятно каким образом сумел устроиться на работу и на жительство в Москве. Работал он в Министерстве речного флота художником.

Во время встреч со мной при моем безденежье он угощал меня в какой-нибудь забегаловке хорошей стопкой водки под бутерброд с плохой колбасой или с килькой. Это было жестом дружеского расположения и служило некоторому раскрепощению в отношениях. Не изменяя обычаю, мы и в этот раз приняли по сто пятьдесят граммов водки, закусили, чем Бог послал и пошли гулять в Лефортовский парк. Поговорили о многом, повспоминали. Ни я, ни Виктор ни разу после выхода из немецкого тыла в декабре 43-го года ни с кем из общих партизанских товарищей не встречались и не общались, если не считать короткой моей переписки с комиссаром партизанской бригады Злыновым. В общем разговоре само собой как-то подошло к тому, что я спросил у Виктора, что ему сказал, указывая на меня, тот мужчина, что пригнал им лодку на Березине в 43-м году. Виктор ответил не сразу.

– Не хотел я тебе говорить, но раз ты спросил, отвечу. К тому же и времени прошло немало. Теперь можно, ты не обидишься. Тот мужчина сказал мне, что женщин немцы не трогают, что военнопленные под своей судьбой ходят, а партизана немцы повесят. При этих словах он и указал на тебя и посоветовал первым рейсом переправить тебя на советский берег.

– Ничего Виктор, дело давнее. Я все равно не сел бы в первую лодку, во вторую – может быть, а в первую нет, не сел бы. Все обошлось. Тебе не кажется, Витя, что кто-то очень угодный Богу хорошо помолился тогда за нас. Я тогда последним покинул вражеский берег.

В батальоне произошли серьезные перемены в командном составе. Уволили из армии доброго капитана Рысакова. Он был хорошим замполитом, а вернее сказать – никаким, ни к кому не приставал, не требовал систематического проведения политзанятий, политинформаций и коллективной читки газет. Поговорит с командиром какой-нибудь роты о дисциплине, о выполнении производственных заданий, о наглядной агитации и дело с концом. Он как-то незаметно функционировал в русле повседневности и обыденности стройбатовской службы. Ни перед кем не выслуживался, не демонстрировал политической активности в деле воспитания личного состава в духе преданности партии и Родине и не добивался повседневной демонстрации этих качеств от солдат, сержантов и офицеров стройбата. Понимал, видимо, что работа на стройке сама по себе является лучшим выражением верности своей Родине солдата-стройбатовца. Единственно, что мне не нравилось в капитане, так это его длинные, сбивчивые, путанные речи на праздничных торжественных собраниях. И слушать томительно, и уйти нельзя.

Новый замполит, майор по званию, с первого же взгляда производил впечатление полной противоположности прежнему незлобивому и негромкому капитану Рысакову. «Кончилась моя нормальная жизнь», – подумалось мне при встрече с этим политработником. Его физическая тяжеловесность, мне показалось, полностью соответствовала его внутреннему умственно-психологическому устройству.

Вторая рокировка в командовании батальона состояла в том, что куда-то откомандировали из батальона капитана Филутина, а на его место прислали подполковника Милашкина, весьма амбициозного и самолюбивого мужчину лет пятидесяти. Он как-то сразу же поставил себя особняком по отношению ко всем офицерам штаба. От капитана Филутина он унаследовал неприязнь ко мне. А я подумал, что очень странно и вроде бы не рачительно расходуются

офицерские кадры в армии, если на такую незначительную должность, как начальник штаба строительного батальона, пусть даже и отдельного, назначают аж подполковника. Недоброжелательность подполковника к себе я объяснил тем, что Милашкин увидел во мне своего антипода: у подполковника очень маленькая должность при очень высоком звании, у меня же – наоборот – при абсолютно невразумительном звании довольно значительная должность.

За свою недолгую жизнь я уяснил для себя, что никакие перемены в жизни и службе никогда не приносят улучшения ни для жизни, ни для службы.

Была еще одна новость в штабной ситуации: майору Кудрявцеву присвоили звание подполковника. Теперь у него на погонах распластались по две больших звезды, посередине которых чернели точки от снятых одиноких майорских звезд.

Теперь я питался в офицерской столовой. Официантка Маруся, маленькая женщина лет тридцати двух или чуть старше, подавала мне обед. Вот так! С некоторых пор я начал задерживаться в столовой с разрешения Маруси. Я оттягивал необходимость являться в политчасть, где теперь постоянно заседал новый замполит. Столовая – маленькая чистенькая комнатка и в ней приятно было позаниматься какими-то бумажными делами: то ли на письмо ответить, то ли протоколы комсомольского собрания или заседания бюро с черновиков переписать, а то так просто газету просмотреть. Маруся любила побеседовать со мной, но делала она это деликатно, чтобы особенно меня не беспокоить, как она говорила. Отрываясь от своих занятий, я иногда перекидывался с ней парой слов. Однажды, когда после чая, разложив на столе свои бумаги, я только собрался заняться своей канцелярией, как в столовую вошли два штабных офицера: заместитель комбата по МТО подполковник Кудрявцев и начфин капитан Шитиков. Я встал при появлении старших офицеров.

– Сиди, Мосягин, в столовой и в бане все равны, – махнул мне рукой Кудрявцев. – К тому ж у тебя и должность офицерская.

– Должность-то офицерская, товарищ подполковник. Это точно, – заметил я, садясь на свой стул. – Но вы знаете, я в этой должности, вроде как декабрист на Кавказской войне.

– Чего это он сказал? – обратился подполковник к начфину. – Какая это Кавказская война?

– Комсорг, видимо, имел в виду то, что декабристов после восстания сначала ссылали в Сибирь, а потом Николай первый их на Кавказ в действующую армию отправлял, – пояснил образованный начфин. – Рядовыми отправлял, а были они все дворянами и имели немалые военные чины.

– Ну, так и что? – спросил подполковник.

– А то, что офицеры Кавказской армии всех этих разжалованных принимали в своем обществе, как равных, несмотря на то, что были-то они рядовыми солдатами.

– Разве ты разжалованный, Мосягин? – удивился подполковник.

– Никак нет, товарищ подполковник, – возразил я. – Это у меня еще впереди.

– Правильно говоришь. Никто не застрахован.

Маруся налила офицерам по стакану чая.

– Так на чем мы остановились? – усаживаясь за соседний стол, спросил Кудрявцев начфина.

– Что-то про зарплату вы начали говорить, – напомнил начфин.

– Да-да, про зарплату, – прихлебывая чай, сказал подполковник. – Этот Сидоров мне говорит, что у меня 2600 рублей в месяц. Так у меня семья шесть человек. И все здоровые. Одна домработница за месяц четыре килограмма сахара съела. (Маруся при этих словах ойкнула и тут же закрыла себе рот рукой.) А Женька! Задом вильнула и стипендию провиляла. Она ж хочет и учится, и гулять, и одеваться хорошо, чтоб за ней бегали.

– Если хорошо одеваться не будет, так бегать не будут, – резонно заметил начфин.

– Бегают! Недавно к ней сватался какой-то паразит из Чехословакии. Я сказал – нет. Потом какой-то морячок клинья подбивал. Из политработников. Я ей говорю, самый ненадежный народ эти политики. Сиди дома. Вот она и сидит.

Подполковник допил чай и обратился к Марусе:

– В общем-то, мы к вам пришли. И вот по какому делу.

Кудрявцев предложил Марусе, чтоб она подумала, как облагородить и сделать поуютней «эту столовку».

– Клеенки на столах заменить, что ли, может скатерти постелить, ну там из посуды может что надо. Кто у вас начальник?

– Ой, я даже не знаю, – растерянно заявила Маруся.

– Начпрод, наверно, – подсказал начфин.

– Ладно, поговорю с начпродом.

Офицеры ушли. Я остался с Марусей вдвоем. Она убрала со стола стаканы, собрала на поднос грязную посуду с рабочего столика и прежде, чем уйти на кухню в подсобку, высказалась:

– А вы знаете, сколько раз я говорила, чтоб эту срамотищу, клеенки эти самые убрать отсюда. Как бы хорошо скатерочками столы накрыть. Я скатерти сама стирала бы. Мыло б только дали и все.

Маруся ушла, а я занялся своей писаниной. Это такая морока. К примеру, «Журнал комсомольских поручений», что в него писать. Я эти окаянные поручения выдумывать притомился. А все парторг! Ты, говорит, заведи такой журнал и записывай, что кому поручил, а потом отметки делай об исполнении. Такая муть!

Вернулась Маруся с вымытой посудой.

– А вы все книжками да тетрадками своими занимаетесь? Пошли бы лучше в парк, там сейчас так красиво, все расцвело, распустилось. Может вам чайку налить, я горячий принесла, – предложила Маруся.

– Куда мне в парк, я уже старый.

– Ой, не могу! Старый! Да какой же вы старый? Вам только и погулять сейчас. В парке девушки, познакомились бы. Ну, вот что вы сейчас пишете?

– Это, Маруся, я книгу пишу. Видите, сколько уже написал.

– Как это? Книгу списываете?

– Не списываю, а сочиняю. Заново пишу.

– Ай-я-яй! – удивилась Маруся, – И много вам еще писать?

Я сказал, что много. Маруся принялась переставлять посуду в шкафу, укладывая ложки и вилки по ящичкам. Я спросил, чтобы только поддержать разговор:

– Маруся, а вы замуж будете выходить?

– Зачем мне замуж? Я уже была замужем. У меня муж в академии учился. Мы хорошо жили.

– Где же он теперь ваш муж?

– Где, где? Кто его знает, где. Бог с ним, пусть себе живет.

Маруся перестала стучать своими тарелками, посмотрела в окно и вдруг, всхлипнув, уткнулась в занавеску.

Вот те на, договорились? История Маруси проста. Какой-то офицер, обучающийся в Бронетанковой академии, пристроился к одинокой молодой женщине, имеющей свою комнатенку, хотя и в бараке, но зато рядом с академией. В любом случае неженатому офицеру удобней прожить пятилетний срок обучения в условиях домашнего быта, пользуясь заботой доброй, непротивительной женщины, чем пребывать в казенной обстановке офицерского общежития. Какой там «замуж»? Окончил капитан академию и «прощай, Маруся дорогая, / я не забуду твои ласки», как пелось в одной хорошей строевой песне.

Мне было жалко добрую женщину и я не знал, как поступить, утешать ее или промолчать, но Маруся вдруг вышла из столовой. Вернулась она скоро, подошла к буфету, что-то поискала там, потом под села к столу, где я сидел, и предложила мне очищенную редиску.

– Вот вам редисочка, попробуйте. Это мне сестра привезла.

Маруся молча посмотрела в какую-то точку на столе и тихо проговорила: «Какая я еще дура».

И в это время в столовую заявили двое сверхсрочников, командир хозвзвода старшина Гутников и старший сержант Демидов зав складом ПФС. Оба они были мужчины обстоятельные, почтенные, вроде богатых кротов из сказки Андерсена.

– Как насчет чайку, Марусенька? – спросил Демидов, усаживаясь к столу, на который он положил счета и толстую пухлую амбарную книгу.

Гутников сел за тот же стол и сразу же принялся читать какую-то книгу. Демидов достал из кармана несколько кусочков сахара, предложил старшине и вопросительно посмотрел на меня, но я отрицательно качнул головой. Прихлебывая чай, Демидов углубился в свою пухлую книгу, время от времени щелкая счетами.

– Что это ты, дядя Саша, доходы свои на счетах подбиваешь? – спросила Маруся.

– Какие там доходы? Расходы подсчитываю. А хочешь, я тебя научу на счетах?

– Научи, – согласилась Маруся, – интересно попробовать.

– Так, для начала положи, – Демидов посмотрел в свою книгу, – положи 112 рублей.

Маруся старательно подвигала косточками на счетах и у нее получилось 120. Демидов поправил ее:

– Гляди сюда, это десятки рублей, это сотни. Думай, голова.

Маруся своими коротким толстенькими пальчиками снова подвигала косточки, повторяя вслед за Демидовым:

– Единицы рублей, десятки рублей, сотни рублей. А дальше?

– Дальше тебе знать не положено. Ложи 112.

У Маруси опять получилось 120.

– Куриная голова! – рассердился Демидов. – Видишь, до этой прорези копейки, а сюда рубли. Чего ж проще? Ложи 112.

Маруся задумалась и принялась внимательно смотреть на счета. Гутников допил чай, засунул в карман свою книгу и, вставая из-за стола, назидательно сказал:

– Ты, Демидов, лучше ее самую положи, чем ждать пока она тебе 112 положит.

Демидов хлопнул по коленке сидящую рядом Марусю и предложил:

– А что, Марусенька? Может, подумаем над этим?

– Дураки, – фыркнула Маруся и убежала из столовой.

Политотдел постоянно требует роста численности комсомольцев в батальоне. Замполит майор Шипулин чуть ли не ежедневно долбил меня этим окаянным ростом: «Не известно, чем занимаешься, а рост комсомольцев не обеспечиваешь». Я, в свою очередь, часто напоминал об этом ротным комсоргам и сам постоянно думал над этим вопросом. На стройке жилого дома на Красноказарменной улице работал столяром хороший парень, рядовой Андрей Прохин. По моей просьбе он смастерил мне небольшой этюдник и я подумывал о возможной попытке попробовать порисовать на натуре. Я обратился к Андрею с предложением вступить в комсомол.

– А зачем? – спросил Прохин, не отрываясь от работы.

– Как зачем? Это же передовой отряд молодежи, и ты будешь его членом.

– А все-таки, зачем?

– Понимаешь, принято у нас так, чтобы молодые люди состояли в одной передовой организации и своим хорошим трудом и поведением подавали пример всей остальной молодежи.

Комсомол это передовая молодежь, – я говорил, а сам думал: «Какую же чушь я несу, почему же у меня нет слов более убедительных, чем эти газетные фразы?».

Андрей отложил рубанок и спросил:

– В батальоне много комсомольцев?

– Порядка трех сотен.

– Тогда покажи мне, где этот передовой отряд, о каком ты говоришь. Что-то я ни нашей стройке, ни на каких других стройплощадках, куда меня посылали, не замечал никаких передовых отрядов.

– Ну не так же прямолинейно понимать это надо. Комсомольцы работают вместе со всеми. Это просто сознательные люди. А комсомол, это резерв нашей партии.

– Сознательные, а я, получается, несознательный? Посмотри, сержант, трое ребят бетонный раствор мешают. Ты можешь сказать, кто из них делает это сознательно, а кто нет. Пойдем, спросим, кто из них комсомолец.

– Я и так знаю. Комсомолец там только один.

– Ну и что, чем он отличается от других?

– Ладно, Андрей, давай так, выйдешь ты на гражданку, будешь поступать на работу, обязательно спросят, член ВЛКСМ ты или нет. Подход разный в этом случае.

– Пускай. Мне это не страшно. Если нужен будет специалист, возьмут.

– И все-таки тебе же лучше, если вступишь в комсомол?

– Зачем, сержант?

– Зачем? Да хотя бы затем, чтобы не выделяться из основной массы твоих же сотоварищей по службе, по работе. Затем, чтобы тебе не задавали лишних вопросов.

– Пусть задают. Скажу, что я старый для комсомола. А если честно, то я, все-таки, не понимаю, зачем это надо.

Практически, я и сам не знал, зачем это надо. Почему всем молодым людям государства необходимо вступать в придуманную правительством организацию. То, что правительству страны необходимо объединить все молодое население в одну команду, это понятно. Люди, подчиняющиеся единому уставу и охваченные одной организационной системой, легче поддаются управлению. Комсомол – это вроде идеологического и управленческого пресса, позволяющего контролировать и держать в подчинении молодое поколение.

Все это, может быть, и верно, но рост комсомольской организации, тем не менее, необходимо было обеспечивать. С таким же предложением, что и к Прохину, я обратился к своему доброму товарищу Васе Кудреватых. Свой взвод он сдал лейтенанту Харламову, недавнему выпускнику офицерского училища, а сам стал помощником командира взвода. Так же, как и Прохин, на мое предложение, Вася спросил: «А зачем?». Приблизительно также, как и Андрею, я объяснил зачем, только не стал говорить про резерв партии, а больше напирал на поступление на работу после демобилизации. Вася подумал и сказал: «Ладно, давай вступлю».

– Пиши заявление, – обрадовался я.

– А как?

Я объяснил, как надо писать заявление.

На следующий день Василий принес в политчасть заявление. На листочке из школьной тетради в косую линейку аккуратным не устоявшимся детским почерком было написано: «Я, сержант Василий Харитонович Кудреватых родился рядовым в 1925 году в деревне...», – дальше я читать не смог.

Милый непосредственный Василий Харитонович, только он со своей простецкой душой мог так написать. Я спросил у него, уверен ли он, что родился рядовым. Вася не понял вопроса и молча смотрел на меня своими светлыми глазами.

– Разве бывает так, что человек рождается ефрейтором или старшим лейтенантом? – спросил я. – Все же люди появляются на свет голенькими и все как один рядовыми. Разве не так?

– Ну, – согласился Вася.

– Так что же ты сообщаем, что ты родился рядовым?

Василий потянул к себе заявление, прочитал первую строку, ахнул и покраснел.

Здесь же в политчасти он переписал свое заявление.

Маме опять надо терпеть

Санинструктором в первой роте был славный парнишка, рядовой Костя Никитин. До него эту должность исполнял рядовой по фамилии Шулинскас а по национальности литовец. Когда я командовал взводом, с самого начала я опрашивал солдат, имеют ли они какие-нибудь специальности. Шулинскас заявил, что он канцелярский работник. В ротные писаря он не прошел из-за плохого владения русской грамотностью и его определили в ротные санинструкторы. Он очень быстро и, надо сказать, успешно овладел минимумом знаний, необходимых для исполнения своих обязанностей, и в силу своей аккуратности и исполнительности был на хорошем счету у начальника медчасти капитана Голубева. Когда вышел Указ о демобилизации рядового и сержантского состава 1923 и 1924 годов рождения, Шулинскаса, как подпадающего под этот Указ, перевели в хозвзвод, где он благополучно и отсиделся до своего увольнения. На его место назначили, только что призванного в армию Константина Никитина, поскольку до армии он окончил два курса медицинского училища.

К этому времени часть первой роты, с Красноказарменной улицы переехавшая в Главный Госпиталь Советской Армии, разместилась в теплом и довольно просторном подвале госпиталя. В этом подвале обосновался и Костя, места было достаточно.

Костя был из тех интеллигентных мальчиков, которые не очень скоро ориентируются в незнакомой и непривычной среде, допускают иногда промахи в поведении и потому служат объектом солдатских насмешек, подковырок и подначек. Один Жора Кормухин чего стоил. Когда врач из госпиталя по просьбе капитана Тарасова проявил внимание к состоянию здоровья Кормухина, то первым результатом этого явилась двадцатилитровая бутылка, наполненная ночным сбросом солдатской мочи. Врач отнесся к этому с пониманием и, поддерживая знакомство с Тарасовым, сказал, чтобы санинструктор собрал анализы недужного солдата, а он сам сдаст их в лабораторию, после чего отведет Жору к специалисту. Но из этого опять вышел конфуз: Жора выложил на пачку газет внушительную кучу своего внутреннего продукта, завернул, завязал шнурком и положил в настенный шкафчик Никитина.

Бедный Костя, обнаружив этот «анализ», прибежал к старшине, возмущенный, обиженный и со слезами жаловался, что этому Кормухину добро хотят сделать, а он позволяет себе такие выходки. Старшина роты Шипарев Толя, человек уравновешенный и рассудительный, в этом случае вскипел:

– Давай-ка, Костя, мы это добро Кормухину в чемодан положим и развернем там.

Костя с удивлением посмотрел на старшину и покачал головой.

– Не надо, – тихо сказал он, – я снесу на помойку.

А Жора, когда старшина воззвал к его совести, спокойно объяснил:

– Мне было сказано сдать анализ, а сколько его надо сдавать санинструктор мне не говорил. А сам я не знаю.

Капитан Тарасов не стал применять к рядовому Кормухину никаких воспитательных мер воздействия. Капитан договорился в штабе и Кормухина по Указу о демобилизации самым первым отпустили на вольную волю.

Костя, призванный в армию в начале 1947 года, еще только начинал свою службу и все никак не мог привыкнуть к ее условиям и принять ее неизбежность. В роте ему было трудно. Сам он был из Рязани, жил с одной матерью, отец у него погиб в 41-м году под Москвой. Я ходил к капитану Голубеву и просил его взять Костю в санчасть на какую-нибудь вспомогательную должность. Капитан объяснил, что и сам думал об этом, да вот с пополнением одновременно с Никитиным в батальон попал самый натуральный ротный санинструктор с фронтовым опытом старшина Поворочаев.

– Начальник штаба направил его ко мне, – развел руками капитан. – Больше мне по штату младшего медицинского персонала не полагается. Да ты не беспокойся, я присмотрю за ним. Ты же еще учти, что командир первой роты человек внимательный, мужик – что надо. А что? – спросил Голубев. – Никитин жаловался на что-нибудь?

– Нет, не жаловался. Паренек хороший. Услужливый, вежливый. В Рязани жил, отец на фронте погиб, рос он с мамой, учился, книжки читал. Трудновато ему.

– А кому легко? Я письмо от родственников из-под Воронежа получил. Там – голод.

Капитан закурил и мы молча посидели рядом, думая, по-видимому, об одном и том же. Я собрался уходить, как Голубев вдруг сказал:

– Ты говоришь, что Никитин из Рязани. А я, сержант, в 42-м в госпитале в Рязани лежал. Ранило меня, когда немцев от Москвы поперли. Дело к весне шло. Я был уже ходячий. Как-то пошел я на рынок и по просьбе соседей по палате купил две пачки махорки. Была такая Моршанская махра. Принес в палату. Открыли пачку, а в ней опилки. Ну и пошло: «Куда ты смотрел? Ты что не видел, что тебе впарили?». Словом, вся палата и так и этак разъясняла мне, кто я такой. Тогда я им говорю? «Вот еще одна пачка. Определите, если вы все такие умные, что в ней, опилки или махорка». Щупали, нюхали, сравнивали вес и к единому мнению не пришли. Осторожно приоткрыл я пачку – в ней были тоже опилки. Я решил заклеить пачки и пойти продавать. Меня отговаривали, мол, брось, еще морду набьют. А я пошел. И ты знаешь, сержант, обменял я на рынке эту «махорку» на кусок хозяйственного мыла. Принес в палату. Мыло оказалось тоже фальшивым: деревяшка, обложенная тоненькими пластинками мыла. По этому поводу не только моя палата, а чуть ли не весь госпиталь веселился. «Везучий ты, мужик», говорили мне. А сосед по койке сказал: «Нет худа без добра. Считаю, что ты на войне свое уже получил. Раз под Москвой и два раза здесь в Рязани. Так что теперь тебе бояться нечего, ничто тебя больше не заденет». Шутки – шутками, а меня так до конца войны ни разу больше не ранило. Правда, я по большей части в прифронтовых госпиталях работал, но все же.

К середине лета демобилизация старших возрастов закончилась. Левченко уехал домой, а старшиной первой роты стал мой дружок Толя Шипарев. В паре с капитаном Тарасовым они содержали роту в полном порядке, насколько это возможно в условиях стройбата. Оба они были людьми совершенно бесконфликтными и выгодно отличались от прочих командирствующих людей отдельного строительного батальона.

Однажды я решил провести земляка и заглянул в Главный госпиталь. Кстати и по комсомольским делам надо было кое-что проверить. В казарме был полный порядок. Дневальный сидел у тумбочки. Когда я вошел, он встал. Не велика птица – старший сержант, но по масштабу комсорг относится к батальонному руководству. Старшину я застал занятым проверкой санитарного хозяйства Кости Никитина. Все, что предусматривалось списком, утвержденным начальником санчасти батальона, в полном наличии имелось в ротной аптечке.

– Посмотри, если еще что надо, напиши список, – сказал Шипарев. – Я зайду к Голубеву.

Костя запер свой шкафчик и обратился ко мне:

– Вы, товарищ старший сержант, в штабе находитесь, может, вы знаете, какой теперь срок службы в армии?

Мы с Анатолием переглянулись и ничего не сказали Косте, потому что ни я, ни Анатолий не имели ни малейшего представления, как следует отвечать на такой вопрос. А Костя, ротный санинструктор, прослуживший в армии всего полгода, неудовлетворенный нашим молчанием, объяснил нам, почему он интересуется продолжительностью срока своей службы:

– Вот уже во втором письме мама спрашивает, сколько я буду находиться в армии. А я не знаю, что ей ответить.

– Дело такое, Константин. И твой старшина, и я в один день призывались в армию. С того дня прошло больше трех с половиной лет и представь себе, что ни я, ни старшина и никто

другой не может знать, сколько нам еще предстоит служить в армии, – объяснил я Никитину. – А маме напиши, что вопрос о сроках службы пока еще не решен в связи с прошедшей войной. Пусть мама потерпит.

– Ну вот, опять терпеть. Похоронка на отца пришла, она терпела, и мне все говорила, ты потерпи, время такое, все хорошо будет. А хорошего ничего и не было. Теперь вот меня забрали и ей опять терпеть надо.

Борьба с космополитизмом и прочее

Замполит завел такой порядок, чтобы ежедневно парторг и я в 9 часов утра находились в политчасти на своих рабочих местах. Парторг находил причины для избежания этого требования, а я неукоснительно выполнял его. Сам же замполит не всякий день появлялся к этому времени на службу. В таких случаях я выставлял на стол картотеку учета членов ВЛКСМ или еще какие-нибудь папки из своего хозяйства, а сам занимался личными делами: читал, писал письма, а одно время затеял писать рецензии на исторические кинофильмы. Подтолкнуло меня к этому занятию то, что в кинофильме «Лермонтов» я усмотрел некоторые отступления от истинной биографии поэта. Учтиво и достаточно аргументировано я изложил свои замечания на нескольких страницах писчей бумаги и отослал в «Литературную газету». Очень скоро пришел ответ очень короткий, но исчерпывающий: «Ваши замечания относительно кинофильма “Лермонтов” во многом верны и небезынтересны, но этот кинофильм вышел на экраны несколько лет назад и возвращаться к нему редакция не считает возможным, так как перед нами стоят другие более актуальные вопросы».

Я, собственно, и не рассчитывал на публикацию. Мне хотелось, чтобы мои замечания стали известны создателям фильма, так как искажения истины в биографии великого поэта, на мой взгляд, недопустимы. Потом я еще написал рецензию на только что вышедший на экраны кинофильм «Адмирал Нахимов»... Потом я понял бесперспективность своих писаний на киношные темы и оставил это занятие. Но потребность в сочинительстве во мне не иссякла и я написал очерк в «Комсомольскую правду». Как я и полагал, мне удалось доходчиво и убедительно рассказать в своем сочинении о приеме в пионеры детей начальной школы в моем родном городе. Весь упор в этом рассказе был направлен на то, что после страшного голода тридцать второго и третьего годов младшие школьники, поступая в пионеры, начинали понимать, что они не брошены страной на произвол судьбы, а становятся пусть маленькой, но все же частичкой советского общества. Красные галстуки для этих ребят были огоньками надежды на справедливость и лучшую жизнь. Я рассказал, что это событие совпало с отменой хлебных карточек осенью тридцать четвертого года и о том, как я со своим дружкой Алексеем Копыловым на большой переменке бегали в магазин и покупали себе по сто граммов хлеба. Естественно, было в моем очерке достаточно оптимизма и всякого такого, что должно быть в газетном материале. Из «Комсомольской правды», мне ответили, что мое сочинение им понравилось, но пионерская тематика достаточно широко отражена в различных публикациях в прежние годы. «Пишите нам, мы будем внимательно относиться к вашим работам. Не огорчайтесь, если не все ваши материалы будут публиковаться. Вот вам такое задание: напишите, как организована спортивная работа в вашей части».

«Как страшно далеки вы от народа», – подумал я. Спортивная работа в стройбате! Неужели вы не знаете, что такое стройбат? О чем вы, уважаемые? Больше я в «Комсомольскую правду» не писал. И вообще, никуда ничего не посылал.

Всеми этими писаниями в основном я занимался по вечерам, когда все штабные работники разъезжались по домам, штаб затихал и только один дежурный по штабу кемарил у телефона. Это было мое, старшего сержанта Мосягина, время. Я много читал. Однажды мне попалась необыкновенно интересная для меня книга: «Литературные этюды», фамилия автора которой была более, чем странной – Луппол. В книге было много материалов о жизни и творчестве Пушкина, Толстова, Маяковского, Горького, Руставели, Гёте, Гейне, Беранже. Мешало мне только то, что автор со странной фамилией как-то так строил свои «этюды», что все, о ком он писал, были истинными борцами за построение социализма и коммунизма.

Автор со всей активностью утверждал, что главным в творчестве Пушкина была борьба против самодержавия, крепостничества и мещанства и в его творчестве «налицо все элементы

революционной традиции». «К нерукотворному памятнику Пушкина привела нас народная тропа социализма». Пушкин, как утверждает Луппол, учил нас гордости трудящегося человека, которой, в конечном счете, научил «нас великий Сталин».

О Горьком Луппол говорит, что «Горький указывает... единственно правдивый и единственный путь, путь революционного служения человечеству, путь к коммунизму».

О ком бы ни писал именитый советский ученый: о Гёте, Руставели или Беранже, – всех он объединял в единый ряд провозвестников борьбы за утверждение коммунистических идей в построении будущего общества. Вот что он говорит о Гейне: «Гейне... понял, наконец, идею коммунизма и доверился ей». «Таким его знал... Карл Маркс, и таким его знает, любит и ценит современный рабочий класс». А вот какими словами он завершает свой «Этюд» о Шота Руставели: великий Шота «...воспитывает в нас художественное чувство и укрепляет в любви и верности к новой социалистической родине».

Таких примеров можно было бы приводить множество. Но, несмотря на эту революционную окраску, мне интересны были профессиональные сведения и литературные толкования автора о творчестве великих поэтов и писателей. Огромная эрудиция автора была бесспорной. Вечерами в штабе я читал эту книгу и многое другое.

Последнее время в плане борьбы с буржуазной идеологией и с тлетворным влиянием западной культуры на советское общество во всей стране проводилась кампания борьбы с космополитизмом. В газетах и по радио постоянно писали и говорили о том, что в нашем обществе имеются такие люди, которых иначе, как безродными космополитами назвать нельзя. Они клеветают, утверждая преимущество западного образа жизни перед нашей советской действительностью. Газеты призывали к бдительности и разоблачению подобных вражеских вылазок в нашем обществе. Пресса и радиовещание развернули мощный информационный шквал аргументации, посвященной и тому, что история имеет неоспоримые доказательства приоритета нашей страны во многих областях науки, искусства и в организации общественной и бытовой жизни. Все средства информации утверждали, что все главнейшие достижения человеческого разума впервые свершались в России. Первый паровоз придумали в России, велосипед изобрели в России, лыжи и коньки впервые появились в России, радио и телефон имеют российское происхождение, колесо впервые возникло в России и самолет тоже придумали в России. Первая опера, первое кино, – все, все начиналось только в России.

В довершение всего этого мощный репродуктор у входа в Лефортовский парк ежедневно с утра до вечера надрывался исполнением русских народных песен и многократно повторяющейся арией Ивана Сусанина: «Ты взойдешь, моя заря». Каждый день начинался громогласными страданиями национального героя, оглашая могучим басом окрестности Лефортово. Я подумал, что популяризация Сусанина как героя, как-то не увязывается с партийной идеологией: Сусанин – герой с подмоченной репутацией, потому что он погиб за царя, а все цари, как учили в школе, были кровопийцами и врагами рабочего класса.

Наслушавшись горестного пения Сусанина и начитавшись в периодической печати различных инсинуаций по адресу космополитизма, я решил разобраться, что же такое этот самый космополитизм. В первом приближении я понимал, что космополит, это человек мира, но этого было недостаточно для аргументированного разговора с моим политическим начальником, если такое может случиться. Все ж таки, я должен быть на уровне современных идеологических мудростей партии и правительства, поскольку я какой никакой, а политработник... Я был записан в хорошую библиотеку, которая располагалась напротив Елоховской церкви в хорошем старинном доме. Вот уж поистине «от многого знания – многие печали». Я покопался в энциклопедических словарях и ознакомился с умеренным толкованием космополитизма в дореволюционной справочной литературе. Потом из новейшей политической литературы я узнал марксистское определение космополитизма, как идеологии империализма, стремящегося к мировому господству. В связи с этим у меня возникла мысль о том, а что же тогда «Про-

летарии всех стран, соединяйтесь!», а как понимать идею мировой революции? Все же эти категории ставят своей целью достижения мирового господства и в какой-то мере имеют космополитический характер. Вот и получается, что наш марксистский космополитизм хороший, а западный – плохой. Эти крамольные мысли я оставил при себе, а из библиотеки унес решимость демонстрировать только официально принятое определение космополитизма. А лучше всего помалкивать, пока меня об этом не спросят. Пусть себе с утра до вечера поет Сусанин, пусть газеты утверждают, что советские зайцы бегают быстрее буржуазных зайцев. Какое все это может иметь отношение ко мне, старшему сержанту, хотя бы даже и комсorghу батальона? Так я думал. Но я ошибался.

Как-то, вернувшись из политотдела, замполит объявил, что в батальоне необходимо провести борьбу с космополитизмом. Вот так, не меньше, не больше, а взять и развернуть борьбу с космополитизмом в стройбате. Я посмотрел на парторга, парторг посмотрел на замполита, ожидая дальнейших разъяснений.

– Во всей стране ведется такая борьба, – многозначительно заявил замполит. – В политотделе дали установку организовать во всех частях работу с личным составом по этому вопросу. – Слово «космополитизм» давалось майору с трудом и он старался его избегать.

Парторг после некоторого замешательства неуверенно спросил:

– Собrania, что ли проводить будем?

– Может и собрания. А ты что думаешь, комсорг? – спросил майор.

– Как прикажете. Собрания, так собрания, – ответил я. – Только что же на собраниях обсуждать будем? Разве у нас в батальоне есть космополиты? Если они выявлены, одно дело, а если случится, что их нет, то против кого тогда бороться? Может быть, нам сначала завести в батальоне, хотя пару каких-нибудь космополитов?

– Это как завести? – не принял шутки майор. – Что-то ты много рассуждаешь. Есть космополиты, или нет их – приказано бороться, значит надо бороться. Да ты хоть знаешь, что такое космополитизм? – вызывающе спросил замполит.

– Знаю. И что такое космополит знаю и хорошо представляю себе, что такое космополитизм. Только поэтому и удивляюсь, откуда возьмутся в нашем батальоне эти самые космополиты.

– А ты не удивляйся. Надо выполнять требования Политотдела. В этом наша задача.

Замполит перелистал свою записную книжку, отыскал нужную страницу и, обращаясь к парторгу, с усмешечкой сообщил, что в порядке примера того, что русские люди лучше немцев, докладчик в Политотделе привел рассказ писателя Лескова. Название рассказа майор не записал, но сказал, что в нем идет речь про немца, который поспорил с русским купцом, что съест блинов больше купца, но объелся блинами и за столом помер.

– Я успел записать, как этого немца звали, – майор надел очки и прочитал в блокноте. – Гуга Спектролис.

Парторг принялся записывать, как звали немца в свою тетрадь.

– Подождите, товарищ старший лейтенант, не записывайте, – приостановил я парторга. – Товарищ майор, вы меня извините, но имя героя рассказа вы записали не точно.

– Как это не точно? – нахмурился майор. – Как докладчик сказал, так и записал.

– Ну, может вы не расслышали, или докладчик ошибся. Рассказ Лескова, о котором вы говорите, называется «Железная воля», а имя немца – Гуго Пекторалис.

– Правильно, это ты точно сказал, рассказ «Железная воля». А немца, как звали, ну-ка, повтори мне.

Я повторил и майор записал в свою книжку правильное имя.

– Почти, как у меня было записано. А ты точно это знаешь?

– Точно, товарищ майор.

– Ну-да, оно и понятно, я в школе давней тебя учился и много чего успел подзабыть.

– Я тоже, товарищ майор, давно учился в школе. Шесть лет уже прошло. А писателя Лескова в школе не проходили.

– Не проходили разве? Тогда откуда ж ты это знаешь?

– Да так, интересовался.

На самом деле Лескова до недавнего времени я знал так же плохо, как и майор. Около месяца назад я посмотрел в каком-то театре спектакль, «Грушенька». В программке было написано, что спектакль поставлен по повести Лескова «Очарованный странник». Естественно, что я заинтересовался Лесковым и взял в библиотеке два разрозненных тома его сочинений. Я был поражен необыкновенной прозой Лескова и очень пожалел, что раньше кроме «Левши», который блоху подковал, ничего Лескова не читал. Что же касается рассказа «Железная воля», то он мне просто не понравился, однако, имя несчастного немца я запомнил и все, что с ним происходило, тоже запомнил. Поэтому, когда майор спросил, помню ли я рассказ, я ответил, что помню. Майор захотел узнать, как там «все происходило и как дело дошло до блинов». Я рассказал, а потом спросил у майора:

– Не понимаю только, как увязать несчастную судьбу Пекторалиса с борьбой против космополитизма.

– А чего тут понимать, – сказал майор. – Нахальный немец не выдержал соревнования с русскими. Значит, русские лучше немцев.

– Может и так, – согласился я.

Замполит с парторгом решили не проводить собраний, а ограничиться политинформациями о происходящей в стране борьбе с космополитизмом. В этих мероприятиях мне довелось принимать участие только один раз, когда замполит решил организовать работников штаба на эту самую борьбу. Неуклюжая, составленная из отрывков газетных публикаций, речь замполита не вызвала у штабистов желания идти на немедленную борьбу с безродными космополитами, которых я ни в батальоне, ни в его окрестностях ни разу не замечал. После того, как майор несколько раз спросил, кто просит слова, а присутствующие в ответ только помалкивали, он дополнил свою речь рассказом о пресловутом Гуго Пекторалисе. Впрочем, фамилию немца он, все-таки, искажил, назвал его Пекторалиусом. На очередной призыв майора проявить активность, встал новый начальник штаба подполковник Милашкин. Очень авторитетно он критиковал младшего лейтенанта Светикова, который, имея небольшой, но очень приятный тенорок, часто пел неаполитанский песни.

– А что? – поднял указательный палец товарищ подполковник. – Разве у нас нет хороших русских и советских песен? Надо товарищу младшему лейтенанту пересмотреть свой репертуар. Нам необходимо укреплять советское преимущество перед Западом. Пусть даже и таким образом.

Вот и получилось, что ни в чем не повинный, славный молодой человек младший лейтенант Светиков оказался помеченным тлетворным влиянием западной культуры.

Майор Шипулин был очень доволен.

Как-то не складывались у меня отношения с новым замполитом. Я чувствовал в нем своего недоброжелателя. За то время, что я прослужил в армии, я приобрел немалый опыт взаимоотношений с отцами-командирами. Чтобы служба не приносила больших огорчений и не превращалась в тяжелое испытание для духа и тела, необходимо в первую очередь ничем не выделяться из общей солдатской массы. Надо покорно тянуть лямку и терпеть. Ситуация, в которую я попал, на первый взгляд, вроде бы и престижная, облегчающая в какой-то мере службу, но на самом же деле двусмысленность ее и неустойчивость только усложняли жизнь. С первых дней службы в армии я ничего иного не хотел, как только дожить до демобилизации. Офицерская должность, по случаю доставшаяся мне, не имела для меня никакой ценности,

поскольку я понимал, что это ненадолго. Замполит это понимал лучше меня. Сержантское звание и офицерская должность, в понимании майора, никак не соединялись в одно целое.

В армии для продвижения по службе надо проявлять показное усердие с желательной долей подобоострастия по отношению к начальству и желательно быть достаточно малограмотным человеком. Я не подходил под эти требования и майор это хорошо понимал. К работе комсорга придраться он не мог. Без внутренней убежденности в необходимости своей, так сказать, деятельности, я, тем не менее, делал все, что положено мне по штату и даже больше. Все художественно-оформительские работы в стройбате выполнял я: наглядная агитация, предпраздничные украшения и лозунги всегда были моей обязанностью.

Все это для замполита было не так важно, как то, что он хотел иметь на должности комсорга своего человека. Я понимал его и не имел к нему никаких претензий в этом смысле. Замполитов я перевидал разных. Коммунистическая фразеология, да некая осведомленность в «текущем моменте», – это было все, чем они, в большинстве случаев, могли обладать. А большего от них и не требовалось.

В октябре я готовился к празднованию 29-летия комсомольской организации. В первую очередь, я разработал эскиз тематического панно, посвященного награждению ВЛКСМ тремя орденами. Майор эскиз утвердил. В красном уголке на одной стене располагался большой щит с портретами членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), а комсомольское панно хорошо компоновалось на противоположной стене. Общее комсомольское собрание батальона, посвященное торжественной дате, решили не проводить. Причиной этому послужила разбросанность расположения подразделений по Москве. Главное же состояло в том, что приближалась дата тридцатилетия Великой Октябрьской революции и на торжественное собрание по этому поводу в обязательном порядке придется собирать личный состав батальона из разных мест. Два раза подряд это делать очень затруднительно. Договорились в честь 29-летия комсомола провести ротные комсомольские собрания. Для меня это было более хлопотливо: четыре собрания труднее организовать, чем одно, четыре доклада, естественно, более хлопотливо делать, чем один на общем собрании батальона. Но решение это было правильным. Комсомольские собрания провели по ротам, а торжественное собрание батальона, посвященное 30-летию Октября, провели в помещении, предоставленном руководством Бронетанковой академии. Доклад в поте лица и с превеликим усердием делал замполит. Большого косноязычия мне редко когда приходилось слышать.

В декабре 1947 года была отменена карточная система на продукты и проведена денежная реформа. Главное в этом было то, что началась свободная продажа хлеба. Два с половиной года после войны и четыре военных года – шесть с половиной лет народ жил на голодном пайке и, наконец, хотя бы хлеб стал доступным продуктом питания. Что же касается денежной реформы, то смысл ее состоял в замене старых денег на новые в отношении 1:10, то есть один новый рубль стоил десять старых. Это было правильно, но замена старых денег на новые была организована варварски: всего три дня отводилось на реализацию старых денег по их нарицательной стоимости. Москва пережила невероятный подъем покупательной способности своих граждан. В магазинах скупали все, что нужно и что не нужно, либо только реализовать имеющуюся наличность. Через три дня после объявления о реформе старые деньги обесценивались.

Небывалое потрясение пережила тогда Россия. У меня, да и не только у меня остался нерешенным вопрос: почему только три дня отводилось на проведение такой огромной по масштабам общегосударственной акции? Почему нельзя было дать больше времени для этого небывалого в общественной жизни страны мероприятия? Ответ был только один: безжалостное отношение правительства к своему народу.

После Нового Года в день Рождества Христова меня навестил Виктор Барановский. Он женился на москвичке и мы отметили это изменение его биографии в забегаловке напротив ЦАГИ, выпили по «сто пятьдесят с прицепом». Я поздравил друга, а он посочувствовал мне по поводу моей бесконечной солдатчины. И все бы ничего, но так совпало, что в этот день меня вызвали в политотдел на какое-то совещание. Обычно сто пятьдесят особенного эффекта не производили, а в тот раз меня как-то развезло, видимо, «прицеп» в виде кружки жигулевского посодействовал этому. Ехать в Политотдел, да еще с опозданием в таком виде было нельзя. Простившись с Виктором, я вернулся в стройбат и, вместо того, чтобы пойти в казарму и поспать там где-нибудь, я явился к замполиту и честно объяснил ему свое состояние. Я ожидал понимания, но этот товарищ взбесился и с красной от негодования личностью тут же позвонил в Политотдел и заявил, чтобы ему прислали другого комсорга, потому что имеющийся у него комсорг напился пьяным и в политотдел на совещание приехать не может.

Даже немцы, даже полицаи, когда я сидел в тюрьме во время оккупации, на меня, так не орала, как это позволил себе майор Шипулин. От его крика я моментально протрезвел, ничего не сказал и ушел из политчасти.

Три источника марксизма

Приближалось время отчетно-выборных комсомольских собраний. Я понимал, что мое фальшивое офицерство заканчивалось, тем не менее, я усердно занимался подготовкой проведения ротных собраний, которые должны были предшествовать общепатальонному собранию. Я помогал ротным комсоргам составить тексты докладов, вместе с комсоргами намечали выступающих, я готовил для них тематические шпаргалки, а то и просто писал для них полные тексты выступлений. На самотек эту петрушку пускать нельзя было. Я не мог допустить, чтобы ведущий собрания тщетно призывал: «Кто хочет выступить?», «Активней, товарищи!», «Ну, кому дать слово?», а собрание в ответ, как будто под воду уходило, сидело и молчало. В общем, я готовил образцово-показательные сценарии.

Замполит требовал от меня чуть ли не ежедневных докладов о том, как идет подготовка к выборам и я однозначно отвечал ему, что все идет в соответствии с намеченным планом. «С каким это планом?», – недоверчиво спрашивал майор. «С моим собственным планом», – отвечал я.

– А вот сейчас, чем вы занимаетесь? – Майор указал на лист бумаги. – Что это вы пишете?

– Составляю план отчетного доклада для комсорга первой роты. Закончу и схожу к нему в Главный госпиталь.

– А сам комсорг, он что, не может это сделать?

– Может. Но он просил меня помочь.

Когда начальствующие люди в обращении со своим подчиненным после фамильярного «ты», в котором не столько дружелюбия, сколько пренебрежения, переходят на «вы», то ждать от такого начальника ничего хорошего уже не следует. Я и не ждал.

В политчасть заявился парторг и это отвлекло замполита от приставаний ко мне. У них пошел разговор о возможном приеме в партию какого-то офицера из третьей роты. Я к их беседе не прислушивался и занимался своим делом. Однако, через пару минут мои начальники заговорили о Коминтерне. Что привело их к этой теме, я прослушал. Поминали Димитрова, говорили о роспуске Коминтерна, объясняли друг другу, почему это произошло. Потом политработники заговорили о марксизме. Кажется, парторг предложил эту тему. Если до этого момента беседа проходила у них в характере взаимного согласия, то теперь она пошла в несколько ином плане и политработники перестали соглашаться друг с другом. Я не уловил, как они подошли к вопросу о трех источниках марксизма. Майор говорил, что главным источником марксизма является необходимость борьбы рабочего класса против буржуазии, а парторг утверждал, что это не источник марксизма, а его содержание. Источником же марксизма, по мнению парторга, следует считать идею построения социалистического, а потом и коммунистического общества. Замполит резонно замечал, что без борьбы с капиталистами построение социализма невозможно. Парторг, соглашаясь с майором, все-таки отстаивал свою позицию.

Я никогда не интересовался этими вопросами, хотя, конечно, понимал все то, о чем толковали майор со старшим лейтенантом. В отличие от них, я понимал и то, что они оба говорят совсем о другом, но никак не об источниках марксизма. Удивительные совпадения случаются в жизни! Надо же было так сложиться, что именно к этому времени у меня в руках оказалась книга Луппола, которую я внимательно читал. Непомерно насыщенная коммунистической идеологией, книга с беспримерным бесстыдством низводила всю мировую литературу к примитивной революционности. Автор ухитрился сообщать, например, о Руставели, что он своим творчеством уходит из феодального мира и «вырывается в нашу современность». Поэтические идеалы Руставели, утверждает Луппола, приобрели свое воплощение только с победой Октябрьской революции и «строфы великого Шоты» помогают нам прокладывать путь от социализма к коммунизму. Вот так вот! Проживавшего восемьсот лет назад, великого месха

зачислили кандидатом в члены КПСС. Но, несмотря на эти идеологические излишества, книга все же была интересна тем, что имела множество фактического материала о творчестве и жизни великих мыслителей и литераторов прошлого времени. Кроме того, в книге Луппола утверждается мысль о преемственности культуры, автор говорит о том, что даже марксизм питался лучшим из того, что имелось в трех его источниках: английской политической экономии, немецкой классической философии и французском социализме. До этого я слыхом не слышал ни о каких источниках марксизма, но вот слова об этом крепко запали мне в голову и я даже наметил себе при лучших обстоятельствах разобраться во все этом поподробнее. Во время оккупации мне попадались книги по философии и я читал немецких философов Фейербаха, Фихте, Шеллинга, из французских социалистов-утопистов я поверхностно знал Кампанеллу, Сен-Симона, Фурье, а вот из английских экономистов, кроме Адама Смита, даже назвать никого не мог (как, впрочем, и сейчас). Все эти красивые фамилии мало были знакомы мне, хотя и не настолько мало, чтобы я мог спутать их с какими-нибудь другими именами исторических деятелей, скажем, с именами римских императоров или художников эпохи Возрождения.

Наслушавшись умных речей своих начальников, я собрался покинуть политчасть.

– Куда это? – грубо спросил майор.

– В первую роту, в Главный госпиталь. Я же докладывал вам. Надо поговорить с комсоргом роты, помочь ему подготовить доклад. Вам же известно, что через три дня в первой роте отчетно-выборное собрание.

И вот если бы майор не одернул меня своим резким вопросом, я не позволил бы себе того фортеля, который незамедлительно выдал своим товарищам начальникам. Совершенно спокойно и уверенно, стоя у двери я произнес:

– Что же касается ваших безграмотных рассуждений об источниках марксизма, то вам следовало бы знать, что три составных части и три источника марксизма – это английская политическая экономия, немецкая классическая философия и французский социализм. «Эту теорию обогатили Ленин и Сталин». Разрешите идти, товарищ майор?

Не дожидаясь ответа, я ушел из Политкабинета.

Последние слова о Ленине и Сталине принадлежали автору «Литературных этюдов» И. К. Лупполу. Я хорошо их запомнил.

Этот мой поступок напомнил мне те действия, которые в экстремальной боевой обстановке совершали обреченные люди, подавая команду: «Вызываю огонь на себя!». Война давно закончилась, но я вызвал огонь на себя и понимал, что мне оставалось только достойно встретить все козни, которые обрушит на меня товарищ майор.

Выдвиженец

«Этот дядя будет посерьезней капитана Рысакова», – так подумал я, когда впервые увидел нового замполита. Широкий, кряжистый мужчина, чем-то отдаленно напоминающий новозыбковского нашего соседа Митьку, то ли по ухватке, то ли по внешности. Замполит, по всему, был одним из тех выдвиженцев, которых партия назначала на ответственные должности не по каким иным признакам, а только лишь исходя из незапятнанности их партийной характеристики и кажущейся безупречности морального облика. Что же касается профессиональных качеств, то этот вопрос решался просто. Во-первых, сам майор Шипулин неоднократно слышал речи, разных политработников, а во-вторых, достаточно было постоянно долбить личному составу подразделения о преданности партии и Родине, о верности присяге, о дисциплине и о «текущем моменте». Этого было вполне достаточно для успешного функционирования политработнику в нашем стройбате, да и во всей армии.

С самого начала моего подчинения новому замполиту я ничего хорошего для себя не ждал и очень скоро почувствовал, что замполит меня не взлюбил. И было за что. Я не лебезил перед ним, держался свободно с достаточным соблюдением субординации, но без ожидаемой от младшего командира перед старшим офицером почтительности и предупредительности. Кроме того, майор не мог мне простить моей большей грамотности, которую он считал совершенно излишней. Для службы это не стоящее дело, полагал майор, и считал, что я не по чину занимаю место комсорга батальона. Ему нужен был комсорг, преисполненный почтительности и подавленности его высоким положением и званием. И обязательно с офицерскими погонами. То же, что я, кроме исполнения своей должности, выполнял все художественно-оформительские работы в батальоне, для майора ничего не значило. «Тоже мне, – считал майор, – он и комсорг, и художник. Ишь ты, какой выискался, грамотный больно». С первых дней совместной работы с новым замполитом я понял, что ходить мне в комсоргах осталось до первого отчетно-выборного собрания. Так оно и вышло. Майор Шипулин сожрал меня.

Но как!

Этот полуграмотный крестьянин очень хорошо понимал, что самым надежным способом расправиться с человеком, это стукнуть на него в КГБ. По глупости я как-то пересказал майору услышанный мной разговор двух мужчин в забегаловке. Один из них негромко и доверительно рассказывал своему приятелю об истинных причинах неприязни Сталина к маршалу Жукову. О том, почему Сталин через год после войны сослал Жукова в Одесский военный округ. Говорил подвыпивший мужчина очень тихо, но я стоял за соседней стойкой и не все, но главное услышал и понял. Теперь об этом много писали и говорили по телевидению и радио, а в то время все, что касалось кремлевских интриг, было великой тайной и запретной темой для любого общения. Рассказ мой о разговоре в забегаловке майор использовал в своих целях: он не упустил случая проявить свою бдительность и стукнул об этом в КГБ. Естественно, очень скоро меня вызвали на страшное свидание с сотрудниками кровавого ведомства.

– Иди, – однажды сказал мне майор, – тебя вызывают. В комнате около продсклада тебя ждут, напротив хлеборезки.

Я не стал спрашивать, кто меня ждет, но что-то недоброе мне показалось в словах замполита. Я постучался в дверь, вошел и по форме доложил о своем прибытии одному из двух офицеров, тому, кто старше был по званию. Мне велели садиться. Я сразу же понял, кто такие эти «товарищи». Держались они со мной предельно строго и отстраненно. Холодно и неприязненно. Они ничем не были похожи на тех старших лейтенантов и капитанов, с какими мне приходилось общаться в армии до сего времени. Они обращались со мной так, словно я был существом иного, чем они биологического вида. Вопросы, ответы, снова вопросы и так часа два, поскольку каждое слово записывалось на бумагу. Особенно они требовали от меня све-

дений о тех мужчинах, разговор которых я подслушал. Но я ничего о них не мог сообщить. Выпив кружку пива, я ушел тогда из пивнушки, а мужчины еще при мне заговорили о футболе.

На допросе я держался спокойно. Отлично отдавая себе отчет в том, что происходит, я ожидал самого худшего – я думал, что товарищи офицеры увезут меня с собой, но по окончании допроса с меня взяли подписку о «неразглашении» и велели идти. Несколько дней я ожидал, что за мной приедут и – прощай Родина. Майор тоже ждал. Мы оба ждали моего ареста: майор со злорадством, а я со страхом. Но прошел месяц, два – никто не трогал меня. Замполит понял, что его стукачество не дало ему ожидаемого результата, и тогда он развернул широкую планомерную кампанию по отстранению меня от должности комсорга через отчетно-выборное собрание. Действия эти его, скорее всего, были согласованы с начальством Политотдела спецчастей.

Если говорить честно, то обо всей партийной и комсомольской работе судили по качеству проведения отчетно-выборных собраний. Поэтому к собраниям этим во всех воинских частях готовились, как можно лучше. Необходимо было подготовить выступающих, обеспечить активность присутствующих, чтобы люди не только слушали и выступали сами, но чтобы из зала еще и вопросы поступали. Необходим был доклад, необязательно объективно отражающий работу организации, но политически выдержанный и уравновешенный самокритикой и критикой, ну и многое другое, что всегда составляло ритуал партийно-комсомольского камлания.

Ротные отчетно-выборные собрания прошли в стройбате благополучно. Я организовал эти «массовки» таким образом, что о них писали в газете Политуправления спецчастей Московского гарнизона «Красный воин». На собрании первой роты присутствовал сам начальник Политотдела полковник Воронов и остался доволен тем, как оно прошло. Он ставил в пример другим комсомольским организациям строительных батальонов работу Мосягина. Но я не обольщался этим успехом. Я знал, что на батальонном собрании главным дирижером будет майор Шипулин.

На заседании партбюро при утверждении отчетного доклада комсорга батальона опять же присутствовал полковник Воронов. Интерес начальника Политотдела к такому незначительному мероприятию, как комсомольские отчетно-выборные собрания в одном из многочисленных строительных батальонов Московского Строительно-квартирного управления был малообъясним, но я не думал об этом. Несколько позже я все это понял. Полковник докладом остался удовлетворен и сделал только несколько несущественных малых замечаний редакционного порядка.

– Перед утверждением предварительного списка кандидатур на должность комсорга батальона, – сказал в заключение полковник, – я хочу заявить членам партийного бюро, что Мосягина я забираю на работу к себе в Политотдел.

Это сообщение было неожиданным, но только для одного меня, все присутствующие отнеслись к словам полковника совершенно спокойно.

– Разрешите узнать, товарищ полковник, что я буду делать в Политотделе? – спросил я.

– Будешь работать в клубе. Потом посмотрим. Правда, я с тобой еще не беседовал, согласен ты или нет.

Я ответил, что готов выполнять любое задание.

Тем дело и кончилось. Но какая же это все была ложь! Я начал понимать, что пьеса, содержание, которой было посвящено моему разгрому, утверждена в Политотделе, раз уж сам полковник Воронов принял в ней участие. После партбюро я остался в ленкомнате и, глядя на стены, увешанные плакатами и портретами моей работы, взгрустнул малость. В это время вошел парторг, старший лейтенант Успехов.

Я высказал ему свое недоумение по поводу того, что никто никак не отреагировал на сообщение полковника Воронова.

– А мы давно знали об этом, – ответил Успехов, – не хотели только тебе говорить.

Они знали! Конечно, они знали, просто боялись, что Мосягин опустит руки и сорвет показательный спектакль комсомольских отчетов и выборов в батальоне, который принял в Политотделе весьма серьезный резонанс.

Все это происходило 11 марта. 12 марта начался разгром комсорга стройбата.

На собрание опять же приехал сам полковник Воронов и привез с собой корреспондента из «Красного воина» капитана Шмонина. Собралось батальонное начальство. Ко мне подошел командир четвертой роты майор Городов.

– Как быть, товарищ Мосягин, с Гладышевым. У него нет комсомольского билета и он отказался ехать на собрание. Дубликат ему до сих пор не выдали.

Майор был расстроен. На ротном отчетно-выборном собрании у него была плохая явка, что объяснялось разбросанностью расположения взводов по разным стройкам Москвы. Городов боялся снова навлечь на себя гнев замполита. Я посоветовал ему ничего никому не говорить об этом. Городов пространно объяснял затруднительность обеспечения стопроцентной явки, говорил о сложностях управления ротой, когда она размещена мелкими группами в разных отдаленных одно от другого местах большого города. Я плохо его слушал.

– Так, значит, можно замполиту не говорить об этом?

– Не надо, товарищ майор, – успокоил я хорошего человека.

Он ушел, а я подумал, что завтра майор Городов перестанет замечать меня, я уже не буду комсоргом батальона. Почти два года назад, когда создавался 124 Отдельный строительный батальон, я формировал в нем комсомольскую организацию и все это время был ее руководителем. Меняются времена, меняются отношения между людьми. Мне вспомнились тревожные письма отца о каких-то людях, которые ходили по нашим соседям и собирали сведения о нашей семье.

Настроение падало. Трудно идти в бой, заранее зная, что тебя победят.

Заканчивались последние приготовления к собранию. Успехов пересматривал листки с текстом «Интернационала», который хотели исполнить после собрания (как бы похоронить комсорга). Ровно в 18.00 я открыл собрание, избрали президиум, председательствовать назначили старшего лейтенанта Голобокова. Я прочитал доклад. В перерыве ко мне подошли полковник Воронов и капитан Шмонин, поговорили, капитан попросил меня заехать завтра в редакцию «Красного воина». Мне показалось, что капитан не был посвящен в план, готовящегося моего отстранения от должности. А может в газете хотели дать мощный материал о комсорге батальона, не оправдавшем доверия партии, совершавшем разного рода проступки, не соответствующие положению руководителя комсомольской организации части, о ловком приспособленце, прикрывавшим должностью комсорга свою аполитичность и неблагонадежность. Все могло быть!

После перерыва начались прения. Поначалу все шло, как и всегда на подобных мероприятиях: выступающие зачитывали тексты, подготовленные с моей помощью, а то так и полностью мной написанные, кое-что, добавляя от себя. Обычная тягомотина. Но вот слово взял майор Шипулин. Это было «слово» прокурора, по своему обвинительному характеру и по экспрессии, с которой оно произносилось, «слово», ориентированное только на смертный приговор обвиняемому с немедленным его исполнением. Чего только не было в этом «слове»? И нарушение воинской дисциплины, несоблюдение формы одежды, неуважительное отношение к старшим по званию, самовольное оставление части по личным делам, чтение книг в служебное время, случаи «принятия алкоголя»... Всего не перескажешь.

Я не волновался, я знал, к чему это все ведет и был спокоен. От заключительного слова я отказался. Я предполагал, что Шипулин высказал не все обвинения в мой адрес и что самый большой камень, заготовленный против меня, лежит пока у майора за пазухой. Вспоминая то собрание, я много раз упрекал себя в том, что в какой-то момент я, все-таки, подыграл замполиту: при выдвижении кандидатур в комсомольское бюро я дал себе самоотвод. Позже я понял,

что эту кость не следовало бросать майору, тем более что фамилию мою собрание оставило в списке для голосования. Вот тут Шипулин и достал свой камень. При обсуждении кандидатур на должность комсорга он снова вышел на трибуну и продолжил против меня обвинительную речь. Оказывается, я скрыл от командования и политорганов батальона, что мой отец работал при немцах во время оккупации, а до революции на юге Украины имел собственный пеньково-прядельный завод. Вот он коммунистически-кагебешный прием искажения действительности и фабрикования обвинений человека! На юг Украины по предложению родственников своей сестры в начале двадцатых годов мой отец, действительно, ездил, чтобы заработать денег для обзаведения своей семейной жизни. Инвалид первой мировой войны, не имеющий собственного жилища, он скитался с семьей и ребенком по чужим квартирам и жил на нищенскую зарплату простого рабочего спичечной фабрики. Опытный прядельщик веревок, он, где-то на Украине в какой-то деревне поставил одно прядельное колесо и с большим трудом обеспечивал пропитание своей семье. Вот это прядельное колесо коммунисты и кагебешники превратили в пеньково-прядельный завод. Надежды на заработки не оправдались, на Украине начался голод и мой отец с большими трудностями и потерями вернулся с семьей в родной город. А что же касается работы при немцах, то об этом я мог сказать так: только товарищ Сталин, писатель Борис Полевой да майор Шипулин считали, что за два года оккупации русские люди, брошенные своим правительством во власть немецко-фашистских завоевателей, должны были все как один поумирать с голоду, но ни на какую работу при немцах не устраиваться. Отец мой работал во время оккупации, сам я и моя младшая сестра тоже работали и, вообще, очень многие горожане работали на каких-то мелких предприятиях, в парикмахерских, сапожных мастерских, в торговле, на стройках и железной дороге. Это давало, хотя какое-то обеспечение пусть для скудного, но все же существования. Я не стал ни объясняться, ни оправдываться. Мне все стало совершенно безразлично. Из списков для голосования после выступления замполита мою фамилию исключили. Комсоргом избрали старшего лейтенанта Голобокова, человека дисциплинированного, не склонного ни к каким сомнениям и очень недалекого. Я как-то разговаривал с ним, он человек, не шибко грамотный, воспитанный на пионерско-комсомольской патриотической тематике. «Тимур и его команда», «Как закалялась сталь», «Буревестник» М. Горького и его же «Мать», – вот что определяло его кругозор и это, безусловно, было правильно. Словом, новый комсорг, как нельзя лучше, подходил на должность комсорга стройбата. А вообще, по человеческим качествам он был нормальный хороший парень.

При подсчете голосов оказалось, что несколько человек вписали мою фамилию в бюллетени.

Никакой публикации в «Красном воине», естественно, не было. Что писать? Если разгромную статью, то, как быть с похвалой мне в ранее опубликованной статье по поводу собрания в первой роте; если что-то положительное выдать, то, как увязать тот факт, что работа комсомольского бюро батальона была признана удовлетворительной, а комсорг оказался политически неблагонадежной личностью. Я сдал дела новому комсоргу. На субботу и воскресенье мне выдали увольнительную для отдыха.

Один день с утра до вечера я провел в Третьяковской галерее. Лечил душу проникновенной красотой и душевностью великой русской живописи. В залы советского соцреализма даже не заглядывал. Второй день провел с Валеи, моей знакомой из типографии.

Выходи строиться

Я принял отделение в первом, взводе первой роты, в том самом взводе, командиром которого я сам был когда-то. Этот взвод единственный не переселился в Главный госпиталь со всей ротой и остался на прежнем месте. Утром после завтрака прозвучала команда помкомвзвода: «Выходи строиться!» и я в походном строю вышел на стройплощадку во главе бригады разнорабочих. Потом я был попеременно бригадиром кровельщиков, штукатуров, маляров... Перед каким-то праздником начальник строительства предложил мне выполнить художественно-оформительские работы, за что пару месяцев мне закрывали наряды на 200 процентов.

Все это время майор Шипулин не оставлял меня без своего злобного внимания, ему очень хотелось, видимо, как можно больше нагадить бывшему комсorghу. Попытка майора сдать меня на расправу КГБ не удалась. Позже отец подробнее мне рассказал, что кто-то из соседей ему говорил о каких-то мужчинах, ходивших по домам и наводивших справки о нем. Спрашивали, как я вел себя в оккупации, и об отце старались собрать побольше компрометирующего материала. Удивительно, откуда выплыли абсурдные сведения о владении отцом до революции каким-то прядельным заводом. Двадцати одного года, в 1913 году отец был призван в армию и до самой Октябрьской революции был на фронте, в боевых частях действующей русской армии, был ранен, лечился в госпитале, откуда и был демобилизован, как инвалид войны. Когда же это он успел заделаться владельцем какого-то завода? Если предположить, что дед мой имел завод и передал его отцу, то это абсолютный абсурд. Дедушка мой, прослуживший царю и Отечеству добрых два десятка лет рядовым солдатом в русской армии, умер в городской богадельне в то время, когда трое его сыновей были на фронтах Первой мировой войны. Как же хлопотал замполит майор Шипулин, чтобы закопать меня, а может быть и моего отца! Не вышло! Хотя я не понимал, почему не вышло – при Сталине с помощью майоров Шипулиных людей убивали, как мух. Если немного отвлечься, то с уверенностью можно сказать, что ни один самый жестокий правитель государства за всю историю цивилизации не уничтожил столько собственного народа, как это сделал Сталин с помощью Шипулиных и иже с ними. Я не понимал, почему я тогда уцелел. Видимо КГБ имело на меня другие виды, что в скором времени и осуществилось.

Майор Шипулин, когда до него дошло, что мне два месяца подряд закрывали наряд на стройке на 200 процентов, сделал серьезное внушение командиру роты:

– Нам не интересно, чтобы одному Мосягину закрывали наряды на 200 процентов! Пусть он добивается, чтобы его отделение выполняло такую норму. Ишь, пристроился!

Очень хотелось майору заставить меня таскать песок и щебенку на пятый этаж, ведь мое отделение в то время по назначению было отделением разнорабочих.

Размеренно и монотонно пошла моя служба, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Подъём в 7.00, отбой в 22.00, рабочий день девять с половиной часов. После скудного завтрака звучит команда помкомвзвода, старшего сержанта Федя Исаченкова: «Выходи строиться!» и взвод отправляется достраивать пятиэтажный дом на Красноказарменной улице. Командиром взвода был только что выпущенный из училища лейтенант Ситников. Этот замечательный молодой человек, мой ровесник был воплощением человечности и порядочности. За все то время, что я служил в его взводе, не было случая, чтобы он хотя раз накричал на какого-нибудь солдата, объявил кому-нибудь наряд вне очереди, или того хуже, посадил кого-нибудь на «губу». Не по годам серьезный и спокойный, он так командовал взводом, что вроде бы и совсем не командовал, а между тем, все у него во взводе было в порядке, дисциплинарных нарушений не было, на стройках его подчиненные работали так, что никаких нареканий со стороны гражданского начальства не случалось.

Своим солдатам он говорил:

– Я не против того, чтобы в выходной день всех вас отпустить в увольнение, хотя бы и весь взвод. Но мне же этого не позволят, вы сами это понимаете. Поэтому давайте так: договаривайтесь сами, кому и когда ходить в увольнение.

Я был особо благодарен лейтенанту Ситнику за то, что, оклеветанного и отстраненного от должности, он принял меня в свою команду и относился ко мне с пониманием и доброжелательностью.

В моем солдатском альбомчике я храню его фотографию.

Младший сержант Валеев

Меня разгромили на собрании 12 марта 1948 года, а в конце марта в стройбате состоялся другой спектакль. В третьей роте, в одном из ее взводов, который размещался за парком Сокольники в одном из старых зданий на Рижском проезде, произошло ЧП. Командир отделения младший сержант Валеев вовремя не вернулся из увольнения. Такое случалось и с другими увольняющимися и никто бы на это не обратил внимания, если бы Валеев опоздал бы на какую-нибудь пару часов. Но Валеев не вернулся во взвод ни на следующий день, ни на второй, ни на третий. Кто-то из его приятелей предположительно знал, где он может находиться. За Валеевым пошли и привели его во взвод. Умолчать о таком нарушении дисциплины было невозможно и командир роты доложил об этом в штаб батальона. Подполковник Гарай не хотел предпринимать жестких мер наказания младшего сержанта и предлагал ограничиться арестом на батальонной гауптвахте, но начальник штаба и замполит не согласились с ним и настояли о передаче дела о дезертирстве Валеева в штаб Квартирно-строительного управления.

В конце марта в стройбате состоялся выездной показательный суд военного трибунала. Крупные дяди в погонах капитанов и майоров привычно, без эмоций и без особого интереса к действию, которое они совершали, показательно судили Валеева. Он оказался маленьким, тихим человеком с аккуратным нерусским лицом, мелкие черты которого во все время суда не выражали ни страха, ни беспокойства. На вопрос, почему он совершил дезертирство, Валеев ответил, что никакого дезертирства не совершал.

– Я уже пятый год служу в армии, – негромко объяснил он суду, – и очень устал от долгой службы. Мне просто захотелось немного побыть со своей женой, с которой мы только что расписались.

– Вы спрашивали разрешения на заключения брака? – задал вопрос майор, председатель суда. – Вы же находитесь на срочной службе.

– Нет, не спрашивал.

– А кто ваша жена?

– Этого я вам не скажу, потому что вы можете ее обидеть. А она ни в чем не виновата. Я сказал ей, что мне дали отпуск.

По свидетельству командира взвода и командира роты младший сержант Валеев никогда не нарушал дисциплины и его отделение постоянно выполняло производственную норму на 100 процентов. Никто не ожидал от него такого поступка.

В последнем слове Валеев сказал, что он осознал свою вину.

– Наказывайте меня, как это у вас положено, только не трогайте, пожалуйста, мою жену, потому что она очень хорошая и ни в чем не виновата.

Валеева приговорили к одному году дисциплинарного батальона.

Забегая вперед, можно рассказать, что через год, в марте 1949 года Валеев появился в штаб батальона за какой-то справкой и зашел в первую роту. Одет он был в черное пальто и такого же цвета брюки, на голове его красовалась темно-серая шляпа. Он рассказал, что отбыл год своего наказания и его демобилизовали. Немногословный и спокойный, он сообщил, что прописывается в Красногорске по месту жительства своей жены. Уходя, он пожелал нам хорошей службы.

Валеев был моим ровесником и вышло так, что, благодаря дисбату, Валеев уже оказался на свободе, а мне предстояло еще служить и служить.

Бессрочная срочная служба

А вообще, наивное откровение младшего сержанта Валеева на суде о том, что он устал от долгой службы, выражало душевное состояние всех солдат стройбата: и литовцев, и русских. Служебные тяготы усиливались тем, что не был обозначен конечный срок службы. Начинало казаться, что демобилизации не будет никогда и что все солдаты стройбата так и останутся на всю жизнь выполнять «почетный долг» перед Родиной. Во взводе третьей роты, который стоял в студгородке на Стромынке, повесился один солдат. О причине самоубийства никто ничего не говорил.

Солдат снял с одной ноги обмотку и повесился на ней. Штабной писарь, по старой дружбе рассказал мне, что солдат оставил записку, но что было в этой записке, писарю не удалось узнать. Начальник штаба передал ее особисту. Приезжал старший брат погибшего солдата. Штабные разговаривали с ним грубо.

Как-то мы вдвоем с солдатом моего отделения Кунцманасом стояли у окошка казармы на третьем этаже. Внизу у штаба о чем-то беседовали замполит с начальником штаба подполковником Милашкиным, потом к ним присоединился командир третьей роты капитан Мешков, человек неприятный «во всех отношениях», как писали классики. Кунцманас, глядя на них, проговорил:

– Если бы им сказали, ешьте по одному в день, они бы нас ели.

– Что же это ты, Юлюс, на них так обиделся? – удивился я.

Юлюс Кунцманас, исполнительный и дисциплинированный солдат, известный мне еще по тому времени, когда я командовал взводом, ничего не ответил своему командиру. Он смотрел в окно и молчал. Потом вынул из кармана гимнастерки конверт и подал мне.

– Посмотрите внизу, – сказал он.

Я прочитал обратный адрес: «Красноярский край...», дальше шло название района и деревни.

– У тебя что, родственники в Сибири? – спросил я.

– Теперь у нас у многих оказались родственники в Сибири. У меня там вся семья: бабушка, отец с матерью и младшие сестра с братом.

– Юлюс, я ничего не понимаю.

– Переселяют нас из Литвы в Сибирь. Только из нашего отделения еще трое получают письма из Сибири: Рацикас, Паулёнис. Иванаускас.

– Но почему? Это может быть какая-нибудь вербовка. Почему переселяют?

– А это вот у них надо спросить, – Кунцманас указал на стоявших у штаба офицеров.

– Может это добровольно делается? На время.

– Под конвоем! В сороковом году, когда нас присоединили к вам, много наших тогда вывезли в Сибирь. Теперь опять переселяют.

– А имущество, дом, скотину, куда же все это?

– Отбирают.

Я не знал, как реагировать на это и что говорить по этому поводу своему товарищу. Я не знал и никогда не слышал, что в нашей стране возможно массовое насильственное выселение людей нерусской национальности из родных мест проживания. «Хотя, как не знал? – подумал я – А раскулачивание в начале тридцатых годов? Тогда тоже ссылали кулаков в какие-то Соловки и еще куда-то».

Юлюс Кунцманас с 1925 года рождения и он, как и многие его земляки, стоит уже на первой очереди к демобилизации. Куда же они поедут теперь? В страшную Сибирь к родителям, или в родную Литву, в тот РВК, в котором они призывались в армию? Война кончилась

уже давно, а человеческие судьбы все еще ломаются и страдания людские никак не кончаются и, видимо, никогда не закончатся.

Несколько дней назад литовские солдаты оборудовали в академическом дворе волейбольную площадку. На сетку и мяч стройбат выделил деньги. Литовцы хорошие волейболисты, многие из них играют здорово, одно удовольствие смотреть. В первой половине лета вечера долгие, после ужина бывает достаточно светло и хватает времени, чтобы поиграть в волейбол. Как-то после игры русские солдаты отправились в казарму, а литовцы стали на площадке в кружок и запели какую-то песню. Они никогда не пели в строю, а в тот вечер полтора десятка мужских голосов на литовском языке необыкновенно слаженно и очень выразительно пели непривычные для русского слуха, но очень красивые песни. И были эти песни невеселыми. На тротуаре вблизи волейбольной площадки останавливались люди и слушали. Ко мне подошла женщина и тихо спросила: «Кто ж они эти солдаты? Немцы, что ли?». Я ответил, что эти солдаты – литовцы. «Красиво поют, – сказала женщина. – Да отчего ж так грустно?»

В стройбате в разное время служили два Героя Советского Союза. Один был лейтенантом, казах по национальности. В батальоне он появился, когда на должность командиров взводов ставили офицеров. Герой по фамилии Кенбаев, смуглолицый, с небольшими черными усиками, небольшого роста симпатичный, располагающий к себе человек держался скромно, по службе особо не выделялся. Рассказывали, что его замучила семья. Жена и теща постоянно принуждали его ходить по начальству и выколачивать «для дома, для семьи» различные поправки, льготы, пайки, ордера на одежду, обувь, то путевки в санаторий им доставай, то иди хлопотать об улучшении жилплощади... «Ты же Герой, ты награжденный, тебе не имеют права отказывать!» А Герой был тихим благонаправленным человеком, никогда в жизни не сутяжничал, ни перед кем не заискивал. Подполковник Кудрявцев посоветовал ему стукнуть кулаком по столу, да послать своих баб куда подальше. Но Кенбаев ни кулаком стучать, ни посылать подальше не умел.

Второй Герой Советского Союза был рядовым солдатом. В батальоне он появился с самого начала формирования и никто не знал, что он Герой, да, кажется, он и сам этого не знал. Как-то около штаба я увидел молодого стройного человека в солдатской форме. Обмундирование на нем было совершенно новое и хорошо подогнанное. Он чистил сапоги. Я шутливо заметил, что в таком виде не только в увольнение в город, а и на свадьбу не грех бы заявиться, хотя бы и на свою собственную. Солдат шутки не принял и, повернувшись, спокойно и просто сказал:

– А я в Кремль еду.

Не сразу сообразив, как следует отнестись к такому сообщению, я молча уставился на солдата. А он, закончив чистить свои сапоги, как-то очень обыденно пояснил:

– Меня вызывают в Кремль для вручения золотой звезды Героя Советского Союза.

Так все в действительности и произошло. В 1943 году при форсировании Днепра было объявлено, что весь десант того плота, который первым достигнет вражеского берега, будет представлен к званию Героев Советского Союза. Очень много тогда погибло людей в широкой воде великой реки под огнем фашистской артиллерии и самолетных бомбардировок. Феде Багину повезло. Плот с ним и его товарищами пересек реку и оказался первым из других плотов доставивших советских воинов на правый, занятый врагом, берег Днепра. Федя Багин получил свою звезду в 1946 году. В звании Героя Багин первое время исполнял в батальоне должность агента по продовольственному снабжению, потом его куда-то перевели. На память он подарил мне свою фотографию.

А в октябре 1948 года погиб командир батальона подполковник Гарай. Произошло то, что в наше время называют ДТП – дорожно-транспортное происшествие. Комбат был женат на

татарской женщине по имени Роза. Родители Розы проживали в одном из городов Московской области, а брат Розы работал водителем грузовой машины в Москве.

Перед выходным днем комбат с Розой на машине ее брата поехали к ее родителям. Машина была загружена деревянным брусом для пристройки к дому родителей Розы. Ехали хорошо, но вся беда в том, что перед дорогой, как это водится постоянно и повсеместно, все трое выпили и выпили, по-видимому, хорошо. На каком – то дальнем километре от Москвы подполковник решил сам сесть за руль грузовика. Он имел водительские права, и все обошлось бы нормально, если бы не злосчастная выпивка перед дорогой. На каком-то вираже подполковник не сбавил скорость, не удержал машину и тяжелый грузовик рухнул с невысокого откоса в придорожный бурьян. Несчастье усугубили брусья. Погибли Гарай и брат Розы, а сама Роза уцелела, но сильно была покалечена.

Обряжали подполковника в последний путь в его кабинете в штабе батальона. Почему-то позвали меня принять в этом участие. Подполковник лежал в гробу, одетый в военную форму, но китель был без погон и мне сказали, чтобы я прикрепил погоны. Я завел шнурки от погон в дырочки на плечах кителя и тут вспомнил, что читал когда-то о литературном персонаже, который вот также, как и я, обряжал в последний путь своего погибшего в бою товарища и у него никак не получалось завязать шнурки на бантик. И вдруг он подумал, а почему на бантик, ведь никогда эти шнурки никто не будет больше развязывать. Он завязал шнурки от погон на узел. Также сделал и я. Очень жалко было погибшего после войны подполковника. Не стало хорошего, добродушного человека.

Похоронили Гарая с воинскими почестями на Немецком кладбище.

Новый комбат

Той осенью, когда погиб комбат, мне очень повезло с работой: я пристроился на стройплощадке вахтером. Это была самая лучшая должность: сиди в проходной будке и делай вид, что ты что-то делаешь. Особенно хорошо было, когда заканчивался рабочий день, топи печку да книги читай. Никаких хлопот, никакого беспокойства. Ночными вахтерами были двое штатских инвалидов, муж и жена, сменяющих друг друга через день. В дневное время постоянно, кроме выходных дней, дежурил я. Толком о своих обязанностях я, не имел никакого представления. Весь рабочий день ворота стройдвора стояли открытыми и все, кому это надо, беспрепятственно в обе стороны проходили через эти ворота, не спрашивая ни у кого разрешения. На ночь ворота запирались. Из посторонних почти никто не появлялся на стройке, а своих я всех знал, ходят целый день туда-сюда, ну и пусть ходят.

Сменщики мои, Столбов и его жена Сима, были люди бедные, тихие и безответные. Оба мелкие, неопределенного возраста, замурзанные и убогие. Иной раз, когда утром я заступал на дежурство, Столбов не сразу уходил домой, это означало то, что он ждал свою жену. Сима недолго заставляла себя ждать, она появлялась и сразу же подсаживалась к печке.

– Ты ела? – бывало, спросит ее Столбов.

– А денег ты мне давал? – огрызнется Сима.

– Сама взяла бы. Забыла, что ли, где лежат. Чего вот ты сейчас ничего не купила?

– Так забыла ж деньги.

При этом, считая меня своим человеком, они переругнутся незлобно. Потом Столбов, покопавшись в карманах, достает деньги.

– Сходи, купи хлеба, – распоряжается он.

– Черного? – спрашивает Сима. – Без приварка его не особенно-то жевать.

– Ну, белого возьми.

– Сколько? Булочку?

– Булочку, – хрипит Столбов и, подумав, добавляет. – Конфеток купи.

– А тут в магазине дешевых нет. Разве сахарку?

– Ага. Песочку. Песочку купи грамм двести.

Когда Сима возвращается из магазина, они садятся на поленья по обе стороны табуретки и молча едят белый хлеб с сахаром.

Я хорошо понимал, что долго отсиживаться в проходной будке мне не позволят, но это случилось быстрее, чем я предполагал. Однажды ко мне в дежурку появился новый комбат, очень большой, очень толстый и очень громогласный полковник по фамилии Харкин. Я доложил по форме кто я такой и что я делаю в вахтерской будке.

– Вахтер? – грозно переспросил подполковник.

– Так точно, вахтер, – ответил я.

В ответ прозвучала тирада, которую приводить здесь не следует, поскольку товарищ подполковник, свободно владея идиоматическими речевыми оборотами, выражал свою мысль при помощи таких слов, которые в те далекие времена считались непечатными.

– Не нашел себе другого места работы! Устроился у теплой печки! Ну, это мы так не оставим! – пообещал товарищ полковник и, преисполненный негодования, покинул вахтерскую будку.

Я посочувствовал новому комбату, из-за того что доставил ему неудовольствие и вызвал его командирский гнев. И то правда, около трех месяцев я продержался на блатной должности и дошел до такой дерзости, что вознамерился было отсидеться в вахтерской будке всю зиму. И хотя я понимал, что вот-вот меня прогонят с теплого места, но кому же не хочется получить, хотя малую толику чего-то хорошего в этой жизни. А в вахтерской будке мне было хорошо. Но

армия, особенно такое ее подразделение, как стройбат, не совместима с христианским понятием добра и сочувствия к ближнему. В армии не должно быть так, чтобы солдату было хорошо.

На следующий день после знакомства с новым комбатом я вышел на стройку в составе бригады отделочников, скомплектованной в основном из солдат моего отделения.

Еще один очередной Новый Год встретил я в условиях выполнения почетного долга перед Родиной. Это был уже пятый Новый год на срочной по закону и совершенно бессрочной по сути службы в армии. 4 марта 1949 года исполнялось пять лет, как призвали меня в армию. Конечного срока службы еще никто не знал.

После Нового года меня направили на какую-то, очень отдаленную от Лефортово, стройку для выполнения работ по наглядной агитации. Делал я на этой стройке совершенно дурацкую работу, причем, ни красок, ни кистей, ни красного полотна, ни фанеры, – ничего на стройке не было. Я писал клеевыми белилами на черном рубероиде какие-то нелепые наставительно-поучительные обращения к работающему на стройке народу, писал лозунги и правила по технике безопасности. Получалось это все, как нельзя хуже. Какой-то начальник выразил свое неудовольствие результатами моих творческих усилий.

– А что можно сделать такими средствами? – спросил я. – У меня только мел да рубероид. Начальник недовольно посмотрел на меня.

– Что же вам еще надо? – задал он вопрос таким тоном, как-будто я в чем-то провинился перед ним.

– Лично мне ничего не надо. Но какой материал, такие и результаты.

Этот разговор ничем не кончился, и мне по-прежнему пришлось раскатывать черный рулон кровельного материала и продолжать свою неинтересную работу.

Ездить на эту стройку было далеко и я с разрешения ротного начальства несколько раз заезжал ночевать к своей давней знакомой Вале. От нее было поближе к месту работы. Вот эти самые ночевки и послужили причиной второй встречи моей с полковником Харкиным. Дня через два после того, как я закончил свою работу на дальнем объекте, меня вызвали в штаб к командиру батальона. Это случилось в субботний день после работы.

Войдя в кабинет комбата, я, как полагается по уставу, доложил о своем прибытии.

– Мне доложили, что ты едешь ночевать на квартиру, – строго и неприязненно произнес полковник. Кроме него в кабинете присутствовали начальник штаба и начфин капитан Шитиков.

– Так точно, но только в тех случаях, когда мне это разрешают.

– Ты работал на чужом объекте, почему не возвращался в казарму после рабочего дня?

– Отсюда далеко ездить и мне разрешили несколько раз переночевать на квартире. Оттуда ближе к месту, где я работал.

– Прекратить такое самовольство! Военнослужащие срочной службы должны ночевать только в казарме.

– Я постоянно ночую в казарме. Только какая же это срочная служба? Вот уже пошел шестой год, как я служу в армии и конца этой срочной службы еще не видно.

– Служить будешь столько, сколько надо! Служить ему не хочется! Служба ему надоела! Переженились во время службы, благополучие свое устраивают. Приспичило им по квартирам ездить!

Я ни перед опасностью, ни во время самых затруднительных и сложных ситуаций в своей жизни никогда не волновался. Беспокойство и порою даже страх я начинал испытывать только тогда, когда и опасность, и угроза оставались уже позади. Я понимал, что не то что прекословить, но даже робко выражать свое мнение в обращении с таким самовластным субъектом, каким был полковник Харкин, не следует. Но полностью отдавая себе отчет в том, что этот

центнер с лишним полковничьей плоти, вооруженной неприязнью ко мне, может быть для меня очень опасен, я, тем не менее, держался спокойно и уверенно. В ответ на оскорбительный выпад полковника я ответил:

– Приспичило или нет – это касается единственно меня самого. Но только в воинской присяге нет ни одного слова о том, что вступая в ряды Советской Армии, человек берет на себя обет безбрачия и обязуется не заводить знакомства с женщинами.

– Какое там еще безбрачие и какие там знакомства всякие! Служить надо по уставам! Грамотные больно стали! Смотри, как бы твоя грамотность боком тебе не вышла!

– Так точно, товарищ полковник, служить надо по уставам. Но я ни в уставе Гарнизонной службы, ни в Боевом уставе пехоты не нашел указаний о том, что в армии запрещена грамотность.

Начальник штаба подполковник Милашкин, сидящий у стола сбоку от Харкина ничем не выдавал своего присутствия, а начфин сидел на стуле у стенки и, посматривая на меня, чуть-чуть покачивал головой, то ли сочувствуя мне, то ли осуждая меня. Полковник с покрасневшим лицом повернулся к начальнику штаба и излишне громко приказал ему:

– Два месяца не пускать его в увольнение! – потом, повернувшись ко мне, не снижая голосового усердия, распорядился:

– Можешь идти!

Я достал из кармана увольнительную записку, по которой собирался сегодня уехать к Вале, развернул ее, положил на стол комбата и четко произнес, поднеся руку к козырьку:

– Слушаюсь, товарищ полковник!

Затем налево кругом и тремя строевыми шагами подошел к двери. В коридоре никого не было. Выйдя из штаба, я подумал: «Хорошо отделался. Мог бы и на “губу” загреметь за пререкания с начальством». А ведь по сути дела пререканий не было. Но в армии существуют твердые правила: «Приказ начальника – закон для подчиненного» и «Молчать, когда с тобой разговаривают!».

Кстати, о начальнике финансовой части. Я так и не понял, осуждал он мои словопрения с Харкиным или сочувствовал мне. Я был склонен думать, что начфин, как благонравный, уравновешенный человек и прилежный офицер, скорее, осуждал меня. С позиций начфина было бы правильной, если бы на все, что говорил комбат, я отвечал бы, как это положено подчиненному: «Слушаюсь», «Виноват, исправлюсь», «Так точно» или «Никак нет» и в конце каждой из этих фраз почтительно добавлял бы «товарищ полковник».

Был такой случай. Я был тогда еще комсоргом и по какому-то делу зашел в кабинет начфина. Начфин предложил мне сесть и мы принялись обсуждать какой-то вопрос, интересующий меня. На столе у начфина были разложены во множестве деловые бумаги, а слева от него на полу у стенки стоял обитый листовой сталью открытый денежный ящик, почти доверху заполненный беспорядочно лежащими пачками денег. Во время разговора начфина позвали к телефону и он быстро вышел из кабинета. Я остался наедине с открытым железным ящиком, набитым деньгами. Начфин отсутствовал более пяти минут, а когда, вернувшись в свой кабинет, увидел открытый ящик, и как-то странно посмотрел на меня. Я сказал ему, что хотел уйти, не дождавшись его возвращения, но остался из-за того, что батальонная казна могла бы остаться без присмотра. Капитан сказал спасибо, но я почувствовал, что он держится как-то натянуто.

Все разъяснилось потом. Как только я ушел от начфина, он заперся в своем кабинете и пересчитал все деньги в ящике. С большим удовольствием он сообщил мне, что все оказалось в порядке.

Что же касается запрещения не пускать меня в увольнение, ни командир взвода, ни командир роты воспитательной работы со мной не проводили. Старшина роты сказал мне, что капитан Тарасов поручил ему проследить за исполнением приказа комбата.

– Так что придется тебе, Женя, куковать два месяца в казарме, – посочувствовал мне ротный старшина Толя Шипарев

МОГЭС

Мое отделение, укомплектованное отделочниками, было направлено на ремонтные работы в МОГЭС. Это здание располагалось на стрелке Обводного канала и Москвы-реки. Построенное в начале двадцатого века, оно было Центральной Электрической станцией городского трамвая. Теперь оно стало Московской Городской Электростанцией.

Около двух месяцев работало мое отделение на этом объекте. Несколько первых недель пришлось работать в ночную смену. Это было необходимо для сохранения производственного процесса предприятия. После ужина солдат отвозили на работу на полуторке, обратно же в казарму мы возвращались на городском транспорте. Это было несложно, так как в шесть часов утра, когда солдаты заканчивали рабочий «день», и в метро, и в трамвае было совершенно свободно.

Когда закончили работу в производственных помещениях, бригаду перевели на ремонт служебных помещений, и работать разрешено было в дневное время. Было освобождено несколько служебных кабинетов и солдаты в них развернули свою штукатурно-малярную деятельность. Служащие проявляли к солдатам снисходительный интерес: как это, военнослужащие и вдруг работают штукатурками, малярами? Пожилой бухгалтер спросил у меня: «Разве в армии появились рабочие отряды?». Я ответил, что на счет рабочих отрядов ничего не знаю, и что мы – служащие строительного батальона и что таких батальонов в Москве много.

Литовские ребята на людях вели себя прилично, громких разговоров, тем более, нецензурных выражений не допускали, работали аккуратно и грязи после себя старались оставлять поменьше. Между служащими станции и солдатами установились обычные добрые отношения.

Дня через три после того, как солдаты начали работать в дневную смену в служебных помещениях МОГЭСа, ко мне подошла молоденькая девушка и спросила, где Костик. Я понял, о ком она спрашивает, потому что пару раз видел ее в коридоре, разговаривающей с рядовым Костасом. Во все время моей службы в стройбате Костас постоянно попадал под мое командование. Он отличный мастер – и штукатур, и маляр, но официально его не назначают бригадиром отделочников. Могли бы присвоить сержантское звание, чтобы человек имел формальное право руководить людьми на работе, но это не делается, потому что Костас литовец. Тем не менее, все одиннадцать человек моего отделения считают Костаса своим руководителем и его профессиональный авторитет для них вне всяких сомнений. Когда начали работать на МОГЭСе, я спросил у Костаса, как распределить рабочее задание и как расставить людей. Костас со своей мягкой улыбкой ответил, что все само получится. И правда, все получилось, как нельзя лучше, но, разумеется, не само, а под руководством Костаса.

Литовцы – народ не мелкий, но даже среди них Костас выделялся своим ростом. Блондинистый с правильными чертами свежего лица он часто улыбался и улыбка очень шла ему и украшала его. Он был спокойный и доброжелательный человек. И когда симпатичная девушка из какого-то управленческого отдела спросила у меня, «где Костик», я был приятно удивлен.

– Скоро придет, – ответил я. – Только если мы говорим об одном и том же человеке, то его зовут не Костик.

– Он сказал, что его зовут Костя, – приятной скороговоркой возразила девушка.

– Нет, у него другое имя. Он же литовец, а у них имена и фамилии отличаются от русских.

– А почему у вас на службе одни литовцы?

– Не только литовцы. В наш батальон хотели набрать тунгусов, но у них очень узкие глаза и когда они смотрят на стену, то видят только узкое место, а это для нашей работы никак не годится.

– Шутите, товарищ сержант.

– Не сержант, а старший сержант.

– Какая разница?

– Да почти никакой.

– Ну вот, видите. Так как же зовут вашего Костика? Только без шуток.

– Хорошо, без шуток. Видите ли, литовские ребята при знакомстве с русскими девушками называют себя русскими именами. Только вашему знакомому Костику, я думаю, не следовало бы этого делать. У него очень красивое имя и фамилия. Костас Бонифастас Орла.

– Ой! Только царей в каком-то древнем государстве так называли.

– То-то и оно! Ничуть не хуже какого-то Костика.

– Не хуже, – согласилась девушка и попросила меня, чтобы я еще раз назвал непривычное для нее имя.

Я назвал. Девушка сказала, что она заболталась и что ей надо идти по делу. Она ушла и очень скоро снова появилась в коридоре, неся в руках толстую папку с бумагами. Остановившись около меня, шпаклевавшего участок стены, она вслух произнесла полное имя и фамилию Костаса.

– Правильно? – спросила она.

Я подтвердил, что правильно и очень похвалил ее. Она поблагодарила меня, сказала, что ее зовут Лена и ушла. Она очень понравилась мне и я подумал: «Дай, Бог, удачи тебе, Костас, хотя бы в этом случае».

Одно за другим помещения управления электростанцией приобретали совершенно иной, чем прежде, вид, обновлялись, становились светлей и просторней. Служащие перемещались в них, освобождая другие комнаты. Похоже, что ремонт в МОГЭСе не производился с того самого времени, как было построено это здание.

Я забыл о своем разговоре с Леной, как вдруг через несколько дней она подошла ко мне со словами:

– Ваши ребята сказали, что вы художник.

– Да что вы, Леночка. Какой же я художник? Солдату в армии не полагается быть ни художником, ни писателем, ни даже акробатом, в армии солдаты должны быть только солдатами.

– Но мне Костас сказал, что вы художник и, пожалуйста, не шутите.

– Передайте Костасу большое спасибо за его высокое мнение обо мне.

– Передам, только выполните мою просьбу.

– Какая же просьба может быть у такой красивой девушки к бедному солдату?

– Нарисуйте мне портрет Костаса.

– Костаса? Да что вы, Леночка? Я не умею его рисовать. Давайте я вам лучше нарисую Буденного. Знаете, какие у него усы?

– Это я могу в магазине купить. Мне нужен портрет Костаса.

– Да ведь он такой большой, что ни на какой портрет не поместится. Попросите у него фотографию.

– У него нет фотографии.

– Пусть сфотографируется.

– Ну что вы заладили, фотография да фотография. Не можете, нарисовать, так и скажите.

– Именно об этом я вам и толкую.

– Не хотите!

– Леночка, лучше давайте я вам свою фотокарточку подарю, – предложил я.

– Спасибо, только мне нужен портрет Костаса.

И вот в результате этого разговора или просто фантазия мне такая пришла, но я нарисовал, все-таки, портрет Костаса. Но какой портрет! Ни до этого, ни после этого случая я, пожалуй, ничего подобного не смог бы сделать, даже, если бы и захотел. Я прикрепил к стене более, чем полотораметровый лист грубой оберточной бумаги, которой укрывали паркетные

полы от штукатурной и малярной грязи, и попросил Костаса немного постоять на месте. Все это делалось, как бы в шутку. Филенчатой кистью, без карандашного рисунка, размашистыми штрихами я ни на секунду не задерживаясь, уверенно, как будто всю жизнь только и занимался подобным делом, в полный рост нарисовал Костаса. Солдат стоял вполоборота, снисходительно улыбаясь, нисколько не ожидая ничего существенного из необычной затеи старшего сержанта. А портрет, между тем, получился. Шапка, распахнутая телогрейка, сапоги, одна рука в кармане, в другой руке сигарета, несколькими штрихами обозначено лицо. Живой Костас Бонифастас Орла смотрел с желтоватого листа мятой бумаги, даже его славная улыбка как-то просматривалась на лице. Потом пошли зрители. Из всех отделов приходили работники МОГ-ЭСа, хвалили портрет, говорили, что очень похож. Мне тоже портрет нравился. Но больше ни разу мне не удавалось так легко, на одном дыхании нарисовать человека. Раскованность, озорство, необязательность, – все это вместе, видимо, дало уверенность моей руке и глазу.

Лена сказала:

– Разве такой портрет я просила вас нарисовать?

– Чем же он вам не нравится, Леночка?

– Нравится. Но такой большущий. Нарисуйте мне, пожалуйста, маленький портретик, маленький, чтоб я могла его в руки взять, в сумочку положить.

– Но я же вам говорил, что Костас не поместится на маленьком портрете. Берите этот, хотите я вам его упакую.

Лена покачала головой и выразительно посмотрела на меня.

– Ну, как с вами разговаривать? Неужели в армии все сержанты такие?

– Да нет, не все. Наверно я один такой.

– Слава Богу! А то бы вся армия пропала.

– Так не пропала ж.

– Потому и не пропала, что вы один такой на всю армию.

– А вы знаете, почему я такой?

– Почему это?

– Потому что вы мне нравитесь, а я вам нет.

– Вот еще! – фыркнула Лена и ушла.

К концу марта отделение мое закончило ремонтные работы на электростанции. В последний день, когда солдаты грузили на батальонную полуторку свои инструменты и материалы, я в коридоре встретил Лену.

– Леночка, прощайте навеки, – обратился я к ней, – если я вас чем обидел, вы уж простите меня.

– Ничем вы меня не обидели. А портрет Костаса у меня есть. Подождите здесь, я сейчас.

Она сходила в комнату, в которой работала, и сразу же вернулась с фотографией. Это была, так называемая визитка, с которой на меня смотрел улыбающийся Костас.

– А вы говорили, что он не поместится на маленьком портрете, – покачивая головой, с упреком заявила Лена.

Я сказал ей, что не всегда следует верить мужчинам, потом очень серьезно сообщил девушке, что Костас, по всей вероятности, в этом году демобилизуется из армии.

– Подходит его срок, – пояснил я.

Лена внимательно посмотрела на меня и без слов тихо пошла по коридору на свое рабочее место.

Новые должности старшего сержанта Мосягина

Немногим больше года прошло с того времени, когда меня прогнали с должности комс-орга батальона. Это совпало с окончанием моего двухмесячного карантина, который я провел без увольнения в город. Когда окончился срок моего наказания, я не обратился к начальству за увольнительной запиской. Старшина сам спросил меня, нужна ли мне увольнительная. Я поблагодарил старшину и отказался. Теперь мое отделение работало в главном корпусе академии Бронетанковых войск. Я смирился со своей судьбой и с покорностью животного, которое ходит по кругу, приводя в движение какой-то древний механизм, безропотно исполнял свои обязанности. Я устал от ожидания и бесплодных надежд. Служба казалась мне бесконечным наказанием и я принимал это наказание, как должное. Даже преступники в тюрьме знают окончание срока своего заточения – я не знал окончания срока своей службы. Пошел шестой год моей солдатчины.

В Москве начиналась весна. Днем пригревало солнце и по Красноказарменной улице бежали ручьи к Яузе. Дворники кололи лед на тротуарах, а в Лефортовском парке потемнел и осел под деревьями снег.

Однажды во время обеда меня вызвали в штаб к замполиту. Он сообщил, что академия выделила стройбату помещение для клуба.

– Помещение запущенное. И, в первую очередь, в нем необходимо сделать ремонт. Из своего отделения возьмешь несколько человек по своему усмотрению и с завтрашнего дня приступишь к работе. С командиром роты мы сегодня об этом договоримся, – заявил замполит.

– Но только одними малярными работами там не отделаться, – вступил в разговор парт-орг. – Сцену надо будет построить. Ты сможешь подсказать, как это сделать?

– Так точно, смогу, – ответил я. – Надо будет два-три плотника да какое-то количество пиломатериалов. Только в моем отделении плотников нет.

– Это мы решим, – пообещал замполит. – Еще скамейки надо будет изготовить.

– И трибуну, – добавил парторг.

– Правильно, – подтвердил замполит. – Трибуну обязательно. Вот всем этим ты и будешь заниматься.

– Слушаюсь, товарищ майор, – без энтузиазма ответил я и, помедлив, спросил. – А строй-площадка? Я у командира батальона под особым надзором.

– Это наше дело, – строго урезонил меня замполит. – Идите с парторгом, осмотрите помещение и подготовьте список работ и необходимых материалов. И учтите, до первого мая все надо сделать.

Ремонт клубного помещения сделали быстро. Плотники сноровисто устроили сцену, штукатуры выправили под малярку стены, маляры побелили и покрасили потолок, стены и окна. Старшина первой роты выделил солдат вымыть полы после всех этих дел. Когда помещение клуба предстало в своем обновленном виде, майор Шипулин с парторгом привели в клуб полковника Харкина. Я этого не ожидал, встречаться с полковником мне не хотелось. Когда в помещение вошли офицеры, я вместе с Костасом тянул филенку по верхнему уровню панели, окрашенной масляной краской. Я поставил на табуретку банку с краской и кисть и повернулся лицом к начальству. Орла стал рядом со мной.

Парторг доложил полковнику, какие работы были выполнены и что еще предстоит сделать.

– Мы здесь организуем библиотеку, повесим занавес, будем заниматься художественной самодеятельностью, устроим экран для кино.

– Сцену надо оформить, – предложил полковник. – Заднюю стенку.

– Это мы имеем в виду, – заявил Шипулин. – В политотделе я видел на сцене большой портрет товарища Сталина и украшения из красного материала.

– Где же мы возьмем большой портрет товарища Сталина? – пожал плечами полковник. – Заказывать обойдется дорого.

– У нас имеется свой художник, – майор кивнул головой в мою сторону.

– Мосягин, что ли?

– Так точно, Мосягин. Это же он рисовал портреты в ленинскую комнату.

Харкин своим животом в расстегнутой шинели повернулся ко мне и спросил:

– Сможешь нарисовать большой портрет товарища Сталина?

– Так точно, смогу, – принимая стойку «смирно», ответил я.

– А ты раньше такие портреты делал?

– Так точно. Мне приходилось писать большие портреты товарища Сталина во время службы в других воинских частях.

Харкин помолчал. Шипулин и парторг тоже почтительно молчали.

– В увольнение ходишь? – спросил полковник.

– Никак нет, не хожу.

– Что так? Срок твоего наказания кончился.

– Не приспичило, товарищ полковник.

Харкин хмыкнул и повернулся к Шипулину. Вдвоем они ушли из клуба, а парторг остался.

– Ты чего так с комбатом говорил? – напустился он на меня.

– А я с ним не разговаривал. Он спрашивал, я отвечал.

– Отвечать можно по-разному.

– Я отвечал по уставу.

– И что вот ты в бутылку лезешь? – парторгу хотелось вызвать меня на дружеский тон. – Комбату звонили из МОГЭСа и с похвалой отзывались о вашей работе. Кто-то из профкома звонил, говорил, что прислали хороших мастеров и что все работали старательно и вели себя прилично.

– Хорошо бы, товарищ старший лейтенант, это сказать всем, кто там работал, – попросил я. – Приятно было бы им.

– Я скажу Тарасову, он сам это сделает. Но вот ты, почему ты перед полковником ерепенишься? Благодарность, может, объявил бы за работу в МОГЭСе, а теперь что? – Успехов покачал головой. – Мы вчера в политотделе были с Шипулиным, так полковник Воронов спрашивал про тебя и говорил, чтобы мы не очень зажимали Мосягина. Майор сказал ему, что мы назначаем тебя заправлять клубом и библиотекой. Понял, товарищ старший сержант?

– Так точно, товарищ старший лейтенант. Понял, что вы меня помиловали. Только я в этом не нуждаюсь.

– Ладно! – махнул рукой парторг. – Шипулин тебе сам объявит про твою новую работу. Ты не показывай вида, что знаешь. И не лезь в бутылку!

В этот же день меня вызвал замполит и сообщил мне о новом моем назначении. К тому, что сказал парторг, майор добавил, что я буду выполнять еще обязанности почтальона.

– Чего молчишь? – спросил майор. – Или тебе все это не нравится?

Я спокойно ответил, что я служу в армии шестой год и привык выполнять приказания начальства вне зависимости от того, нравятся они мне или нет. Ответом моим майор остался недоволен. А я подумал: «Подобострастия от меня не дождетесь, товарищи начальнички».

– Ладно, – сказал майор. – Нарисуй план оформления задней стенки сцены. Надо показать командиру батальона. Сделай хорошо, чтоб ему понравилось.

Так я получил новое назначение: стал завклубом, библиотекарем, художником-оформителем и почтальоном в одном лице. Мне шел двадцать четвертый год. Никаких сведений о сроках демобилизации не было.

Портрет Генералиссимуса товарища Сталина я рисовал уже в новом клубе. Почти двухметровое полотно я установил у окна так, чтобы свет был слева и работал не спеша, испытывая при этом давно забытое мной чувство покоя и удовольствия от выполняемой мной работы. Больше года я ничего не рисовал, но навыки сохранились и техника сухой кисти не подвела меня и теперь. Портрет товарища Сталина, пятого и последнего русского Генералиссимуса (а может быть и последнего во всем мире) получился нормально и я сам был доволен своей работой, чего давно со мной не бывало.

Портрет установили на невысоком постаменте, устроенном во всю длину видимой между кулисами сцены. По краям портрета я разместил по три, красным сатином обтянутых, узких подрамника, уступами расходящихся в разные стороны. Таким образом, портрет был отделен от стены и вся композиция получилась нарядной и торжественной. Приходило начальство и в основном отзывалось одобрительно. Начальник особого отдела с присущей ему бдительностью указал мне, что правый ус у товарища Сталина получился неровный. Я присмотрелся и заметил, что в растушевке фона около усов просматривалось небольшое посветление, отчего казалось, что ус сливается с фоном. Я взял кисть и подтемнил это место. «Ну вот, теперь все хорошо», – удовлетворенно отметил особист. Замполит тоже не обошелся без замечаний. Он выразил сомнение по поводу того, почему по краям портрета установлено по три красных планшета и нет ли в этом какого-то смысла. Я ответил, что смысла никакого нет и что такое число красных планшетов определилось композиционной уравновешенностью.

– Но если, вам товарищ майор, необходима политическая аналогия, то считайте, что три планшета означают три революции в истории нашего государства, – нашелся я – По-моему, это может быть убедительно. Но если, вы товарищ майор прикажете, я поставлю любое число красных подрамников, – смиренно заявил я.

Майор ничего не сказал и все осталось без изменений.

Накануне 1-го мая в клубе состоялось торжественное собрание стройбата. Все было, как обычно это бывает в подобных случаях. За столом, покрытом красным сатином, сидел президиум, замполит с трибуны произносил речь о солидарности всех трудящихся разных стран для борьбы с капитализмом. Не изменяя своей манере обращаться с подчиненными, майор ораторствовал так напористо, словно все сидящие в зале были противниками это самой солидарности и ему необходимо было всех этих разгильдяев наставить на путь истинный.

После торжественной части состоялось выступление художественной самодеятельности.

Клуб начал работать. Я принялся комплектовать библиотеку, покупая книги в киосках и магазинах на небольшие стройбатовские деньги. Месяца через полтора политотдел прислал в стройбат киноаппаратуру и откуда-то появился киномеханик, задиристый и заядлый рядовой по фамилии Куликов.

Я притерпелся к своему новому положению. После завтрака собирал солдатские письма и штабные отправления, если таковые были, и отправлялся на почту в Солдатский переулок. Это было близко и можно было идти через Лефортовский парк, а можно было и по улице мимо академии. На почте работали некрасивые женщины и все какие-то недобрые. Вообще во всех учреждениях, магазинах, в киосках, в кассах метро работают только сердитые женщины. На почте я старался поскорее обернуться со своими делами и на выход. А если подумать, то с чего бы всем этим женщинам быть добрыми и вежливыми? Четыре года войны, послевоенный голод, нужда, мужей нет, вечные заботы, чем детей накормить, во что обуть их и одеть. «Доля ты долюшка, женская доля...»

Один раз я ехал на почту на телеге. Вышел за проходную и сразу же увидел подводу, что было весьма редким явлением на московский улице. Подвода ехала от Лефортовского моста вверх по Красноказарменной улице. Ездовой – хохол – увидел, что я ожидаю, когда он проедет, приветливо предложил:

– Сидайте, сидайте, вместе будем ехать.

Я вспрыгнул на телегу, хохол что-то принялся мне рассказывать, но я не слушал его. Утром я постоял перед своим портретом Вождя и еще раз удовлетворенно подумал о своей работе и вместе с тем подумал о том, что никто из господ начальничков ни одного слова одобрения не сказал, словно это обыденное дело, как будто каждый стройбатовский солдат может нарисовать такой портрет. Мысли эти были огорчительными и не шли из головы. Между тем, тихим ходом доехали до поворота на Краснокурсантский проезд. Я поблагодарил ездового за компанию, соскочил с телеги и направился к почте, но не дошел я еще и до академии, как вдруг услышал:

– Стойте, стойте, сержант! Сидайте!

Обернувшись, я увидел, что мой знакомец едет на своей телеге и снова подсел к нему. Хохол с веселым удивлением рассказал:

– От лошадей! Як доихалы до круга 37-го, так и не схотела идти дальше. Думала, что на 320-й завод едем. Не схотела и всё!

Хохол подвинулся на повозке.

– Да вы сидайте тутачко. Сидайте.

– Ну и что ж вы теперь? Не поедете на завод?

– А як же? Поедем, обязательно поедем. Только по другой улице. От лошадей!

Мне хотелось узнать сумеет ли ездовой преодолеть нежелание лошади ехать на 320-й завод, но мне надо было на почту и я, пожелав всякой удачи своему вознице и своенравной лошади, оставил его. Телега благополучно повернула на Солдатскую улицу.

Летом демобилизовали из армии солдат и сержантов 1925 года рождения. Уехал в свои Великие Луки Федя Исаченков, уехал хороший человек, сержант Вася Кудреватых, который 24 года назад родился рядовым в Тамбовской области. Покинули стройбат и уехали Юлюс Кунцманас и Костас Бонифастас, а также и многие другие мои однополчане. Только если русские молодые люди поехали к своим родителям в свои родные места, то я так и не узнал, куда же поехали многие из моих товарищей литовских солдат: в свою родную Литву или в далекую и страшную Сибирь.

После этой демобилизации я и мои ровесники стали самыми старыми солдатами в Советской Армии.

Как-то поздним августовским вечером воскресного дня я возвращался из увольнения. Только что прошел дождь и в мокром асфальте огнистыми столбами отражались уличные фонари и освещенные окна первых этажей. В районе Земляного вала узкими улочками я шел к Курскому вокзалу на метро. Улицы были безлюдны, но впереди я увидел маленького человечка, с трудом продвигавшегося по мокрому асфальту. Это был безногий инвалид на своем ужасном транспортном приспособлении. После войны множество безногих людей пользовались для передвижения самодельными колясками, представлявшими собой сколоченную из досок платформочку, снизу которой крепились две оси из арматурных стержней с насаженными на них шарикоподшипниками. Инвалид крепился к платформе прочным широким ремнем, а передвигался с помощью двух деревянных чурок, отталкиваясь ими от асфальта. Этот «экипаж» имел широкое распространение по всей послевоенной России.

Такого бедолагу увидел я на мокром после дождя тротуаре. Улица шла немного на подъём и калеке очень трудно было двигаться вверх. Не говоря ни слова, я снял с себя ремень и подал инвалиду конец с пряжкой.

– Ты что, браток? – глухим и низким голосом спросил инвалид.

– Держись крепче, друг, – сказал я. – Повезу тебя, а то смотрю, буксует твоя машина. Безногий человек взялся двумя руками за ремень.

– Ну, если так, то давай, – согласился он. – До угла, хотя бы, там легче будет.

И я потащил на буксире бывшего солдата, изуродованного войной. До угла мы добрались благополучно, а дальше начиналось Садовое кольцо.

– Тебе куда? – я спросил.

– Давай до вокзала. Дальше я сам доберусь. У меня там нора на улице Казакова.

– Мне тоже к вокзалу, так что поедем вместе. Держись покрепче.

Мы двинулись к переходу через широкую транспортную магистраль, но до перехода не дошли. Нас остановил комендантский патруль. Офицер проверил мои документы и строго спросил:

– Почему нарушаете форму одежды?

– Ну а как же иначе я смог бы ему помочь, – начал я объясняться, но безногий перебил меня:

– Позволь сказать, товарищ начальник. Я совсем тормознул в переулке, там дорога все вверх да вверх. А он подвез меня. За что ж его наказывать?

– Никто никого не собирается наказывать, – по-прежнему строго заявил лейтенант. – Но форму одежды нарушать не полагается.

Он отдал мне документы и, глядя на часы, заметил:

– Через сорок минут кончается ваша увольнительная. Успеете?

– Мне до Лефортовского парка. Это недалеко. Успею. Только, как же он?

– Поможем, – пообещал лейтенант.

Я пошел к переходу и уже с другой стороны кольца увидел, как двое патрульных солдат, держа за руки инвалида, катили его через дорогу.

Клубные и все другие мои обязанности обеспечивали мне некоторую долю свободы, но это получалось в очень малой степени. Часто приходилось ходить на строительные работы. В начале осени мне пришлось поработать на ЦАГИ. Это сверх всякой меры засекреченное учреждение. Через многое время я узнал, что в этом институте решаются проблемы аэродинамики и прочности самолетов, а в те времена понимал только то, что ЦАГИ – это что-то имеющее отношение к государственным секретным делам.

Полукруглый фасад одного из зданий ЦАГИ выходил на улицу Радио, а напротив него была забегаловка, где очень редко, но все же удавалось выпить граммов сто водки, по какому-нибудь хорошему случаю.

Бригаду для работы на секретном объекте собрали из тех солдат и сержантов, которых в армии того времени было принято называть «сачками», это были писаря, посыльные, портные. В эту команду попали и мы с киномехаником Куликовым. На проходной тщательно проверили соответствие списка с красноармейскими книжками стройбатовцев, затем провели нас между невысоких корпусов на пустую, довольно захлавленную территорию у ограды, идущей вдоль набережной Яузы. Работягам вручили ломы, лопаты, кирки и указали четко размеченный колышками участок пустыря, где необходимо было по этой разметке выкопать гнезда для каких-то фундаментов. Гнезда располагались по периметру центрального прямоугольника, в пределах которого тоже надо было копать землю под фундамент.

Грунт был очень трудный. Похоже, что на этом месте когда-то стояло какое-то здание и солдаты ломami и кирками врубались в глубину старинной кирпичной кладки. Около двух недель горбатились «сачки» на этой работе.

Откуда-то просочилась информация, что на площадке будет стоять какой-то аппарат, а в гнездах заложат фундаменты для закрепления растяжек от этого аппарата. Но точно никто ничего не знал, для какой надобности все это делалось.

Был случай когда меня вместе с солдатами взвода, в котором я числился, гоняли работать на кабельный завод разбирать отслужившие свой срок огромные деревянные катушки, на которые наматываются электрические кабели. Наподобие странных окаменевших существ тесным огромным стадом стояли эти катушки на хозяйственном дворе, занимая очень большую территорию. Катушки были разной величины, у одних круглые боковины достигали высоты человеческого роста, другие были поменьше. Солдатам раздали разводные ключи, насадки, молотки и топоры. Объяснили, что приближается отопительный сезон и выбракованные катушки – их называл и еще барабанами – необходимо разобрать на топливо.

Я вдвоем с рядовым Морозовым попытались отвинтить громадные гайки с болтов, стягивающих деревянную конструкцию катушки. Но сколько мы ни бились, ни одна гайка не поддавалась нашим усилиям. Гайки стояли намертво. Эти окаменные катушки находились на заводском дворе еще с довоенного времени под дождем и снегом – ржавчина так прочно спаяла гайки с болтами, что разъединить их не было никакой возможности. У других работников было то же самое, никто не смог одолеть ни одной гайки. До обеда бродили солдаты от одной здоровенной катушки к другой и ни одна не поддавалась их усилиям.

Лейтенант Ситник пошел к заводскому начальству. Вернулся он в сопровождении двух мужчин, один из которых был одет в замасленный комбинезон. Этот в комбинезоне взял у стоявшего поблизости солдата разводной ключ, надел его на гайку большой катушки и навалился на ручки ключа. Катушка покачнулась и, если бы ее не подпирала такая же соседка, она покатила бы. Гайка не дрогнула.

– Пустое дело, – сказал мужчина. – Я же тебя, Никанорыч, предупреждал.

– Что же делать? – озадачился тот, кого называли Никанорычем.

– Думать надо. Может порезать болты, а может дерево бензопилой распилить. А может долотом вырубать дерево вокруг гаек. Думать надо. Взвод вернулся в казарму.

«Наглядная агитация – это изобразительные средства, применяемые для политического воздействия на массы», – так сказано в «Военном энциклопедическом словаре» (см. М.: «Военное издательство, 1984). И еще там же: «Важная роль наглядной агитации отводится при оформлении ленинских комнат, клубов, библиотек...»

Такого определения наглядной агитации во время службы в стройбате, естественно, я не знал, но я очень хорошо усвоил то, что все политработники во всех воинских частях, в которых мне приходилось служить, крепко и озабоченно занимались вопросами наглядной агитации. Майор Шипулин был первым из прочих замполитов, который не проявлял особого внимания к этому немаловажному фактору политико-воспитательной работы.

Мне надоело мотаться по разного рода авральным работам и я надумал нарисовать для клуба портреты всех маршалов Победы. Стена напротив окон очень подходила для размещения такой галереи. При первом удобном случае я сообщил замполиту о своем намерении. Майор сказал, что надо подумать. Думал он недолго. Видимо столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы связаться с начальством из Политотдела и согласовать с ним мое предложение, которое он, разумеется, выдал за свое. Шипулин пришел в клуб через день.

– Сколько же портретов надо будет рисовать? – спросил он.

– Девять, – ответил я. – Портрет Василевского возьмем в ленинской комнате.

– Значит, всего будет десять маршалов? Ты точно это знаешь?

– Так точно. Я уже рисовал портреты маршалов в одной части. Это было зимой 45-го года. У меня и оригиналы имеются.

– Что это такое – оригиналы? – насторожился майор.

– Отпечатанные фотоизображения маршалов. Я их собирал из журналов. Есть у меня несколько отдельных репродукций. Портреты я буду рисовать с этих материалов.

Шипулин удовлетворенно кивнул, потом подошел к портрету Сталина и некоторое время смотрел на Генералиссимуса.

– Слушай, Мосягин, – не оборачиваясь, проговорил он, – Где ты учился рисовать? Ты что до войны какое-то училище закончил?

– Товарищ майор, вы же собирали на меня и мою семью уголовный материал. Должны бы знать, что в 15 лет я попал в оккупацию. Какое ж я училище мог закончить до войны?

– Насчет материала ты, это самое, поосторожней, – майор подошел к столу, где я стоял. – Язык-то укороти. Материал собирали такой, какой был нужен! А сейчас я тебя спрашиваю, где ты учился рисовать?

– Разрешите доложить, товарищ майор – нигде, – я неожиданно для себя самого вдруг высказался:

– Рисовать я учился у художников Крамского и Чистякова.

– Так бы и сказал! Они что, в оккупации с тобой были?

– Вроде того, товарищ майор.

– Ладно! – махнул рукой Шипулин. – Приступай к работе. Простыни для портретов возьми на складе. Там дано указание. К Октябрьским праздникам надо все сделать.

– Если не будут гонять на разные работы, сделаю. Может не все, но большую часть сделаю.

Таким образом, я на недолгое время обеспечил себе некоторую служебную самостоятельность.

Работа над портретами маршалов была кропотливой и долгой. Как и в 45-м году, трудней всего мне дались портреты маршалов Конева и Толбухина. Лица у них круглые, ни усов, ни бороды, ни прически. К празднику Октябрьской революции я успел нарисовать только семь портретов. Оставалось три: портреты маршалов Малиновского, Мерецкова и Толбухина. Портрет Василевского из ленинской комнаты не удалось использовать, так как он не подходил по размерам. Пришлось маршала рисовать еще раз. Портретная галерея смотрелась очень внушительно и впечатляюще. Полностью закончена она была за две недели до Нового года.

Окончание службы

Наступил 1950 год. Для меня седьмой год моей службы в армии.

В начале года вышел Указ правительства о демобилизации солдат и сержантов 1926 года рождения. Значит, для меня наступил последний год службы, но сердце мое не дрогнуло от этой долгожданной новости и душа не возрадовалась. Наступила усталость и отупение овладело сознанием. Стало страшно от абсолютного бесправия и безнадежности. Власть показала, что она управляет жизнью человека самым бесчеловечным образом: семь лет службы без объяснений, без предварительного объявления срока службы правительство считает нормальным явлением, в то время как такое отношение к человеку возможно только в феодальных государственных формациях.

Дед мой по семейным преданиям отслужил двадцать пять лет «николаевской» службы, что, в общем-то, маловероятно. Но, видимо, очень долго служил в армии дед, если в семье сложилось представление о его очень долгой службе. Однако мой дед тянул солдатскую лямку при царском режиме в закрепощенной стране, а вот его внуку досталась тоже долгая солдатчина, но уже в самом свободном в мире государстве.

Если говорить точно, то седьмой год моей службы пошел с 4 марта. 9-го мая исполнилось пять лет со дня Победы. Я думал о том, что хорошо бы освободиться до начала учебного года. Хорошо бы, да только хорошей стороной жизнь для меня давно не поворачивалась. Так что надеяться было не на что.

По заданию замполита я обновлял оформление фасада штабного барака. Рисовал незамысловатые панно на темы газетных передовиц: мир во все мире, великие стройки коммунизма, построение светлого будущего и что-то еще в этом же роде. Когда прибывали к стене панно о мире и демократии, повредили изображение кремлевской башни в нижней части планшета. Я сходил в клуб за краской и кистью и подправил поврежденное место. Закончив работу и собираясь уходить, я увидел, как мимо штаба проходил дежурный по части капитан Мешков. С банкой краски, кистью и тряпкой в руках я отошел от стены барака, чтобы посмотреть на результат своей работы.

– Почему не приветствуете старшего по званию, товарищ старший сержант? – поравнявшись со мной, строго спросил капитан.

– Товарищ капитан, да я же вас уже третий раз вижу, пока здесь работаю, – попытался я оправдаться.

– Не имеет значения! Вы обязаны приветствовать офицера. Или вас не касаются уставные требования? – капитан не принял во внимание мои слова.

Мешков был человеком высокого роста и хотя не сутулился, но постоянно держался с некоторым наклоном туловища вперед. Лицо у него было вытянутое и прыщеватое, а толстые губы казались постоянно сырыми. Я понял, что искать разумного выхода из затруднительного положения мне не следует, решил ждать, что будет и молча смотрел на капитана.

– Как дежурный по части за нарушение дисциплины объявляю вам наряд вне очереди.

– Слушаюсь, товарищ капитан, наряд вне очереди, – по-уставному ответил я и подумал, что наконец-то сподобился на седьмом году службы получить первый наряд вне очереди – Разрешите идти, товарищ капитан?

– Не разрешаю! Наряд отработаете прямо сейчас. Стойте здесь, я вам напарника приведу такого же, как и вы, разгильдяя.

Капитан пошел вдоль штабного барака в ту сторону, где размещалась санчасть. Вернулся он тотчас же, а за ним следом двигался с ведром в руке другой разгильдяй, которым оказался старшина Колька Поворочаев, санитар из санчасти.

– Приказываю вам вымыть полы в штабе! – излишне громко распорядился капитан Мешков.

Я с удивлением уставился в лицо капитана и первое, что я намеревался сделать, это отказаться от выполнения такого идиотского приказа. Но прежде чем так поступить, я посмотрел на Колю, тихого, доброго старшину Колю Поворочаева, контуженного в мае 45-го года в бою за Берлин в районе Гросс-клиники. Коля смотрел на меня так, словно говорил, давай отработаем, нам же будет лучше.

– Не слышу ответа! – с прежним голосовым нажимом потребовал капитан, глядя на меня.

– Слушаюсь, товарищ капитан, вымыть полы в штабе! – гаркнул я и выпятил вперед грудь. – Только разрешите мне одному сделать это. Помощник мне не нужен.

– Не рассуждать! Приступайте к выполнению!

И вот два старослужащих солдата, фронтовики Великой Отечественной войны, два младших командира, старшина и старший сержант драили деревянный пол в штабном бараке. Я сочувствовал старшине. После контузии у него не поднималось верхнее веко на левом глазу. В госпитале его не комиссовали, признали годным к нестроевой службе и сказали, что с глазом все постепенно пройдет, но вот уже пять лет миновало с того времени, а веко на глазу Николая так и не подымается. Глаз видит, но он закрыт от света.

Когда вымыли пол, я сказал своему товарищу:

– О выполнении наряда, Коля, докладывай ты. А то ведь придерется, почему докладывает не старший по званию. Пойдем вместе, а доложишь ты.

Так удостоился старший сержант Мосягин получить и отработать свой первый и пока единственный внеочередной наряд. «Все правильно, – подумал я, – нельзя же, в самом деле, столько служить и ни одного наряда не схлопотать». Спасибо бдительному товарищу капитану Мешкову.

Войдя в клуб, я остановился в проходе. С левой стороны на меня строго смотрели великие полководцы Отечественной войны, маршалы Советского Союза: Рокоссовский, Жуков, Василевский, Мерецков, Конев, Буденный, Ворошилов, Толбухин, Малиновский, Говоров. В неосвещенной глубине сцены виднелся портрет Генералиссимуса. Генералиссимус на меня не смотрел, так как он был нарисован «в три четверти» и его взгляд был устремлен влево в сторону книжного шкафа. Маршалы на своих портретах все были изображены в анфас и поэтому их зоркие очи были обращены на меня. Я принял стойку «смирно», поднес руку к головному убору и сказал, обращаясь к портретам: «Винovat, исправлюсь!».

«Роняет лес багряный свой убор...» Пожелтел и почти весь облетел Лефортовский парк, только тополя стояли еще зелеными. На Немецком кладбище роняли последние листья старые клены. Старинные памятники в бесконечной печали и пронзительной грусти ожидали очередную зиму. На высоком постаменте крылатый ангел, посвященный памяти народных артистов братьев Адельгейм, в вечной задумчивости смотрел в какую-то, только одному ему известную даль.

В день Царскосельского лица 19 октября я отпросился у парторга съездить в город. Я поехал на Тверской бульвар к памятнику Пушкину. Хотел посидеть на скамье, помолчать, подумать, но мимо постоянно проходили офицеры, приходилось приветствовать. Я постоял в стороне, честь все равно приходилось отдавать, но хоть вскакивать со скамьи не надо было. А ведь офицеры бывают разные: одно дело такие, как подполковник Гарай, капитан Тарасов или лейтенант Ситников и многие другие мужчины в золотых погонах, но совершенно иное дело такие товарищи, как майор Шипулин, подполковник Нетчик или полковник Харкин, или такие капитаны, как Филутин и Мешков...

Вечером после ужина, когда в клубе, как правило, никого уже не бывает и дело идет к отбою, я достал из книжного шкафа толстую книгу с оторванной обложкой. Это были «Сочи-

нения. А. С. Пушкина» 1928 года издания. Книгу эту вместе с другими потрепанными книжками, кто-то из коммунальных соседей Вали выложил на окошко лестничной клетки между этажами. Сочинения Пушкина я унес с собой и с того времени постоянно читал ее. Я хорошо знал Пушкина, но мне доставляло удовольствие читать и то, что мне было известно, и то, что я как бы заново открывал для себя в бесконечности пушкинской поэзии и прозы. Книга была очень удобной для чтения. На больших страницах простой, немного шершавой бумаги и стихи, и проза были напечатаны в два столбца и в этом было что-то привлекательное, как будто нечто старинное и доброе, не совсем еще утраченное исходило от этой книги.

Лежа на своей койке в казарме, я подумал о том, какие странные, все-таки, совпадения случаются в жизни? В 1817-м году Пушкин окончил учебу в лицее, в 1837-м году погиб на дуэли 37-и лет отроду, – всюду семерки. И, засыпая, подумал еще, что и у меня в биографии теперь будет семерка – число лет моей службы в армии.

В субботний вечер в клубе шло кино. Киномеханик долго возился с аппаратурой, что-то у него не ладилось, и фильм начался значительно позже, чем следовало. Картина была скучная, что-то вроде «Кавалера золотой звезды», и я отправился спать, предварительно договорившись со старшиной роты об уборке в клубе после кино. Ключи от клуба у старшины имелись. Все могло бы так и получиться, но на ту беду в клуб заявился комбат полковник Харкин. Кино закончилось уже после полуночи. Солдаты отправились по казармам, а подполковник потребовал представить ему старшего сержанта Мосягина с тем, чтобы снять с него стружку за то, что он оставил клуб без присмотра и не занимается в нем уборкой. Старшина, видимо, побоялся доложить комбату о моей просьбе, а может комбат не стал его слушать. Посыльный разбудил меня и передал приказ. Харкина. Я посмотрел на часы, был первый час ночи, и сказал:

– Передай полковнику, что нет никакой необходимости делать уборку в клубе ночью и что это можно будет сделать утром после подъема.

Я знал, на что я нарываюсь, но что-то во мне выпрямилось и я подумал: «Будь, что будет». И заснул.

За полчаса до подъема я пошел в клуб и сам навел в нем порядок. Крайнее окно зрительного зала выходило в тупик между круглой башней и стенами здания, где сама по себе обосновалась мусорная свалка. В это окно, стоя на подоконнике, я выбросил мусор и вдруг увидел полковника Харкина. Мы встретились взглядами. Харкин отвернулся и понес дальше по двору свой очень выдающийся и очень круглый живот в расстегнутой шинели. Целый день я ждал расправы, но ни в этот день ни в последующие дни ничего не произошло. Если бы это касалось кого другого, а не полковника Харкина, то можно было бы подумать, что «инцидент исчерпан». Но не такой он человек товарищ командир стройбата, чтобы упустить возможность отыграться на нижнем чине за проявленное нижним чином отсутствие чинопочитания.

Так точно оно и вышло!

Недели через две меня вызвали к начальнику штаба батальона подполковнику Милашкину. Результатом этого вызова явилась «Записка об арестовании сержантского и рядового состав», которую красивым писарским почерком собственной рукой заполнил сам начальник штаба. Писарю не доверил. В «Записке» было сказано: старший сержант Мосягин Евгений Потапович арестован командиром батальона за невыполнение приказа в срок. Срок ареста трое суток простым арестом.

– «Записку» для исполнения предъявите дежурному по части, – приказал начальник штаба.

Покинув штаб, я разыскал дежурного по части и вручил ему свой приговор.

– Не могу тебя посадить, – прочитав документ, заявил дежурный. – На «губе» сидят трое солдат. С ними вместе сажать тебя не имею права, а отдельного помещения нет. Гуляй, старшой.

Смена дежурных по части проводилась в 7 часов вечера. Каждый день я в это время обращался со своим приговором к заступившему на дежурство офицеру и каждый день дежурный отказывался сажать меня на гауптвахту. Батальонное училище не пустовало, в нем постоянно отбывали наказание рядовые солдаты, а младших командиров, согласно Устава гарнизонной службы, запрещалось содержать под арестом в одной камере с рядовыми. «Записка об арестовании» по уставу должна была быть приведена в исполнение в течение месяца, после чего она теряла свою силу. Так прошел месяц. Я положил свой приговор в книгу сочинений Пушкина на долгую и недобрую память. Не довелось мне отсидеть свой срок на «губе», зато осталось у меня свидетельство о проявлении ко мне особого внимания батальонных начальников.

«Записка об арестовании» стала для меня особым символом и последним знаком истинного отношения отцов-командиров к солдату, семь лет прослужившему сначала в Красной а потом в Советской Армии. Взяли в армию восемнадцатилетним юнцом, а выпустили на волю двадцатипятилетним мужчиной. Без благодарности, без денег, без образования, без специальности, но зато с запиской об арестовании.

Демобилизовали старшего сержанта Мосягина самым последним из всех, кто в батальоне подлежал демобилизации по последнему Указу. Это произошло в конце ноября 1950 года. Трех месяцев не дотянул старший сержант до полных семи лет солдатчины. Завершение службы было скучным и прозаическим. Я получил в штабе документ об увольнении из армии в запас и пошел за проходную. Прощаться было не с кем, старые товарищи все уже разъехались по домам, а новых завести еще не пришлось. Радости не было.

Я уже понимал, что жизнь за проходной «на воле» не сулит мне ни благополучия, ни душевного удовлетворения.

2007 г.

Палата на восьмом этаже

Повесть о ветеранах Великой Отечественной войны

Я, Юрий Петрович Панин, старый солдат Великой Отечественной войны был направлен врачом районной поликлиники на лечение в госпиталь для военных ветеранов. Но не так-то просто было попасть в это лечебное заведение. Я полагал, что для этого достаточно обойти врачебные кабинеты в своей поликлинике, сдать и получить результаты необходимых анализов и, имея на руках заключения местных врачей, явиться в госпиталь. Оказалось, что этого всего мало – необходимо было пройти еще лечебную отборочную комиссию в самом госпитале.

По длинным коридорам приемного отделения госпиталя бродили помеченные войной далеко не молодые люди, удрученные медицинским бездушием и бюрократизмом. От одного кабинета к другому перемещались инвалиды войны, кто с палкой, кто с костылями, а некоторых возили на колясках родственники. «Кто последний?», – то и дело слышалось у закрытых дверей врачебных помещений. Люди занимали очередь и терпеливо томились ожиданием приема у врача. Я тоже мотался по коридорам, тоже сидел у закрытых дверей, недоумевал и про себя ругался. Был момент, когда я хотел, было, плюнуть на всю эту тяготину и уйти домой. Но сдержался и вытерпел. Когда, наконец, я попал к председателю комиссии, то спросил, зачем такая утомительная канитель с повторными врачебными осмотрами, ведь все же это было проделано в районных поликлиниках. Непримируемо конфиденциальная дама жестко ответила, что она не доверяет участковым врачам. После короткого опроса и беглого ознакомления с представленными ей материалами двукратных медицинских обследований председатель комиссии сообщила, что меня положат на лечение в кардиологическое отделение и что какое-то время мне придется подождать своей очереди.

Я ожидал долго. На исходе четвертой недели мне сообщили, что на следующий день я могу лечь в госпиталь. Я подумал: «Ну что ж, лечь, так лечь, Кстати, забавно получается: в госпиталь ложатся, в тюрьму садятся. Хорошо, что мне придется лечь».

Палата, куда проводила меня медсестра, была просторной и светлой комнатой с двумя большими окнами, с туалетом и душевой. Койка, расположенная справа у окна, была свободной. Она-то и стала местом моего жительства на ближайшее время. «Располагайтесь», – сказала медсестра и ушла.

В палате находился один только мужчина. Он лежал с газетой на койке, что стояла у стенки слева от входа. Я уложил свои вещи в тумбочку и подошел к окну. Откинув желтую занавеску, я увидел, что передо мной открылся замечательный вид на просторный зеленый массив, раскинувшийся вправо и влево от госпиталя, ограниченный бетонной полосой Кольцевой автомобильной дороги. За дорогой возвышались корпуса строящихся и уже построенных многоэтажных зданий. Где-то слева в зеленых кустах деревьев чуть виднелась крошечная белокаменная церквушка. С удовольствием осматривая эту широкомасштабную красивую панораму, я порадовался, что не придется мне взирать из госпитального окна на скучную стену рядом стоящего дома или постоянно видеть колодец двора, зажатого бетонной или кирпичной геометрией скучных построек. День был солнечным, и за окном госпитальной палаты во всем великолепии сияло подмосковное лето. Я вспомнил, в каких жутких условиях, в духоте и скученности прошлой осенью лежала в больнице моя жена с приступом инсульта. В комнате, чуть побольше этой, размещалось восемь коек, на которых томились страдающие женщины. Думать и вспоминать об этом невыносимо. От этих тяжелых мыслей меня отвлек мужчина, лежавший до этого на койке с газетой. Он подошел и стал рядом со мной у окошка так тихо, что я не услышал.

– Опять пробка, – проговорил он сипловатым голосом. – Все время пробки. Сколько же их едет этих самых большегрузов. Конца им нет.

Действительно, кольцевая дорога вся была забита автомашинами, особенно ее внешняя полоса. Справа налево сплошным потоком, наподобие поезда, одна за другой почти без движения стояли огромные машины. Мимо них по соседним рядам медленно с частыми остановками продвигались вперед машины меньшего размера. На внутренней полосе движение транспорта было нормальным.

– Вот так целыми днями. Как посмотришь, так они больше стоят, чем едут. Дальнобойщики всю дорогу закрывают.

– Не везде же так, не по всей Москве, – поддержал я разговор. – Я ни в одной пробке не стоял, пока ехал сюда. Здесь тоже, видите, на встречной полосе машины хорошо едут.

– А откуда ехал?

– Есть такая деревня Бескудниково. Из нее и приехал.

– Бескудниково? Ты что, тоже из деревни?

– Да нет. Это район Москвы. Бескудниково, Лианозово, Дегунино – раньше все это были деревни, а теперь это Москва.

– Понял, понял. А то я уже подумал, что ты из деревни сюда попал.

Я взглянул на своего собеседника, это был немолодой мужчина невысокий и коренастый. Был он чисто выбрит и аккуратно причесан. Его большая голова плотно и низко, почти без признаков шеи умещалась на могучей груди между широких плеч. Госпитальная пижама сидела на нем хотя и мешковато, но выглядела опрятно. Он показался мне общительным и добродушным человеком, что в дальнейшем общении с ним не вполне подтвердилось. Звали его Василий Семенович. Он отошел от окна. Походка его была такой, что, казалось, будто он не идет, а плывет по комнате. Он перемещался, не отрывая ног от пола, и делал очень короткие, переставляя госпитальные тапочки вперед на половину их размера, как будто ноги его были спутаны в коленях. Дойдя до своей койки, он повернулся и сообщил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.